

Часть V. Усиление натиска общественности на власть

Глава 1 Министерство Столыпина. Вторая и Третья Государственные думы (9 июня 1906 г. - 11 сентября 1911 г.)

За то шестилетие, в течение которого во главе правительства находился П.А. Столыпин, политика, им проводимая, испытала значительные метаморфозы. Становясь у кормила государственного корабля, Столыпин мечтал привлечь в свой кабинет видных представителей того перводумского большинства, с которым, при наличии Государственной думы, ему сговориться не удалось, а именно некоторых из главарей кадетской партии. Поездка этих главарей после роспуска Государственной думы в Выборг и выпуск ими там известного Выборгского воззвания, призывавшего население к неплатежу податей и налогов и к уклонению от исполнения воинской повинности, привели к тому, что всякий сговор с ними оказался недопустимым. Привлекать к власти людей, которые открыто призывали население к борьбе с существующим правительством, очевидно, не отвечало достоинству государственной власти. Пришлось взять шаг вправо и обратиться к непосредственно стоящим вправо от кадет лидерам оппозиции, а именно к главарям весьма немногочисленной Партии демократических реформ, отличавшейся от кадет не столько по программе отстаиваемых ею государственных преобразований, сколько по способу их осуществления: кадеты не отрицали революционного метода их осуществления и в соответствии с тем находились в тесном контакте с партиями социалистическими, которые должны были для них таскать каштаны из огня.

Члены Партии демократических реформ революционные методы начисто отрицали, с террором примириться не могли, а потому никакого дела с главарями партий, действующих из подполья, иметь не желали. Не чужды они были и мысли вступить в соглашение с правительством и даже войти в его состав при условии, если представители короны обяжутся осуществить наиболее важные пункты их программы. В соответствии с этим, призванные Столыпиным, мирнообновленцы гр. Гейден и Н.Н. Львов поначалу охотно пошли на переговоры с Столыпиным, тем более что один из них — Н.Н. Львов — саратовский землевладелец — был близок к Столыпину еще по Саратову, причем был даже ему обязан тем, что Столыпин его спас в Балашове, куда он лично с этой целью поехал, от ярости толпы, настроенной

какими-то удивительными путями весьма право, чтобы не сказать черносотенно.

Однако начавшиеся весьма благополучно переговоры между Столыпиным и упомянутыми двумя мирнообновленцами весьма скоро осложнились. В курсе этих переговоров я не был и посему сказать про них ничего не могу. Знаю лишь, что Столыпин шел на значительные уступки. Вновь возникла кандидатура А.Ф. Кони на пост министра юстиции. Кроме двух министерских вакансий, получившихся от увольнения Ширинского и Стишинского, которые Столыпин предполагал заместить общественными деятелями в течение этих переговоров, Столыпин готов был еще предоставить общественности и пост государственного контролера. Был момент, когда соглашение с общественными деятелями Столыпиным почиталось за окончательно состоявшееся — и внезапно все разрушилось: почему — не знаю. Произошло это, во всяком случае, со дня на день. Сужу об этом по следующему, сохранившемуся в моей памяти довольно мелкому обстоятельству. Однажды, приблизительно через неделю после назначения Столыпина, ко мне зашел П.Х. Шванебах и объяснил мне, что ему только что Столыпин сказал, что по состоявшемуся у него соглашению с некоторыми общественными деятелями он согласился на предоставление между прочим поста государственного секретаря Д.Н. Шилову (а может быть, гр. Гейдену — точно не помню) и что посему ему, Шванебаху, придется покинуть этот пост. На другой день уезжал из Петербурга за границу И.Л. Горемыкин, и проводить его приехали многие министры, входившие в состав его кабинета, а среди них и Шванебах, подошедший ко мне, тоже бывшему на этих проводах, с сияющим лицом и со словами: «Mori et resuscite dans les 24 heures». Оказалось, что его вновь вызвал к себе Столыпин и сказал, что соглашение с общественными деятелями окончательно разрушилось и что ему, Шванебаху, нет надобности оставлять занимаемую должность.

Если мне неизвестны подробности переговоров Столыпина с упомянутыми общественными деятелями, то для меня совершенно ясна основная причина их неудачи. Заключалась она в том, что мысль о привлечении общественных деятелей возникла на почве смягчения впечатления в стране от роспуска Государственной думы. В основе лежал все тот же страх, который побуждал Д.Ф. Трепова идти на соглашение с кадетами и противиться роспуску народных представителей. Последствий роспуска Государственной думы опасались, в сущности, все, но в то время, как Горемыкин и его единомышленники среди правительственного синклита почитали дальнейшее продолжение принявшей открыто революционный характер деятельности Государственной думы еще более опасным, нежели ее роспуск, отдавая себе вполне отчет в том, что в конечном счете с Думой сговориться все равно нельзя, что ее все равно, рано ли, поздно ли, придется распустить, противники роспуска предпочитали не задумываться о будущем и в страхе, закрыв глаза на будущее, отступали от непосредственной опасности.

Опасение тяжелых последствий роспуска Государственной думы ближайшее окружение Николая II сумело внушить и ему, и неисполнение Горемыкиным приказа об отмене принятого решения о роспуске нижней палаты вызвало в первую минуту весьма определенное неудовольствие государя. К Горемыкину был прислан офицер фельдъегерского корпуса для точного выяснения времени вручения председателю Совета министров записки государя, отменяющей упомянутое решение. Одновременно предложено было принятие всех мер, способных примирить общественность с этим государственным актом. Среди них намечено было и привлечение общественных деятелей, на что государь согласился весьма неохотно.

Однако по мере того, как проходили день за днем и спокойствие в стране, уже уставшей от революционной смуты, ничем не нарушалось, правительство и сам государь убеждались, что никакой опасности стране не угрожает, что роспуск Государственной думы не вызвал никаких волнений, что в правительстве вновь воскресла вера в возможность править, не считаясь вовсе ни с революционными, ни даже с реформационными требованиями различных слоев населения, самое желание включить в состав правительства outsiders⁴, не принадлежащих к бюрократическому, вполне подчиненному государственной власти слою, понемногу исчезало.

Изменение взгляда государя на состоявшийся роспуск Государственной Думы сказалось очень скоро. Выразилось оно, между прочим, в том, что Д.Ф. Трепов утратил всякое влияние на царя, а, наоборот, милостивое отношение к Горемыкину не только возобновилось, но даже усилилось. Горемыкин был вызван в Петергоф, где к нему вышла во время приема государем и императрица, и здесь ему была высказана горячая благодарность за его службу. Привели к Горемыкину и малолетнего наследника, причем государыня просила Горемыкина благословить его.

Помогли изменению настроения при дворе в особенности сами лидеры Первой Государственной думы. Воззвание, выпущенное ими из Выборга, где они собрались после «разгона», как они выражались, Государственной думы, имевшее вполне определенную цель поставить правительство в безвыходное положение, не получило никакого отклика в стране, и это обстоятельство сразу обнаружило всю незначительность их влияния на те народные элементы, на которые мечтали опереться выборгские трибуны. Ведь недаром же при Дурново было сослано 48 тысяч агитаторов. Не проявили поначалу никакой деятельности и террористы, решившиеся прекратить на время думской сессии всякие террористические акты, а потому не имевшие возможность сразу вновь их возобновить, так как каждый такой акт требует довольно продолжительной предварительной подготовки.

При таких условиях в последнюю минуту придрались к каким-то дополнительным мелким условиям, которые предъявили общественные

деятели для вступления в состав правительства, чтобы сразу прекратить с ними всякие разговоры.

Шаг назад был, однако, сделан не столько Столыпиным, сколько самим государем, вообще весьма неохотно соглашавшимся на всякие уступки общественности. Я хочу, однако, подчеркнуть, что руководствовался здесь государь не желанием сохранить в своих руках неограниченную власть (это желание было весьма резко выражено у императрицы, но отнюдь не у государя), а глубоким убеждением, что Россия не доросла до самоуправления, что передача в руки общественности государственной власти была бы губительна для страны. Нет сомнения, что с годами у государя вкоренилась привычка к неограниченному самовластию и что, тем не менее, по природе своей он не дорожил им. Та легкость, с которой он отрекся от престола в 1917 г., и весь его образ жизни и поведения после отречения это в полной мере свидетельствуют.

Государь очень скоро вернулся к прежнему образу мыслей, причем в это время, с упразднением влияния Д.Ф. Трепова, к тому же вскоре скоропостижно скончавшегося, при дворе усилилось влияние лиц относительно правого, чтобы не сказать, реакционного направления. Среди них были и лица, по умственному их развитию совершенно лишенные политического понимания и воспитания, как кн. М.С. Путятин, занимавший должность помощника гофмаршала двора, гр. Бенкендорфа. Человек этот, инспирируемый бывшим обер-прокурором Синода А.А. Шихматовым, неизменно стремившимся и умевшим создать себе связи среди царской челяди, сумел проникнуть в эту пору к государыне, и едва ли не он первый втянул ее в участие в государственных делах, о чем ярко свидетельствуют ее опубликованные письма к государю⁵. Однако с наступлением смутного времени, когда царь и царица убедились, что не только положение страны, но и положение самой династии подвергается опасности, они естественно и неизбежно должны были задуматься над общеполитическими вопросами и искать людей, вполне верных, которые могли бы осветить истинное положение вещей. Такими верными людьми она, разумеется, почитала ближайшее окружение царской семьи. Вот в эту-то минуту подвернулся Путятин, с которым она и вела довольно продолжительные беседы. Именно с этого момента началось сначала малозаметное, нерешительное, слабое вторжение государыни в государственные дела, с годами, однако, все усиливавшееся и приведшее, как известно, в конечном результате к тому, что важнейшие государственные решения, равно как и выбор высших должностных лиц, всецело исходили и зависели от нее.

При таких условиях приходится поневоле остановиться на личности этой глубоко несчастной, но вместе с тем и роковой женщины. Мучительная кончина, а быть может, еще больше те непередаваемые нравственные страдания, которые она с несравненным достоинством перенесла в последние

месяцы своей жизни, заставляют относиться к ее памяти с особою осторожностью. Однако, какова бы ни была ее кончина, сколь бы ни были велики ее душевные страдания, какие бы ни выказала она в это время христианские добродетели, все же ее роль в судьбах России от этого измениться не может, роль же эта была выдающаяся, скажу более — решающая.

Для того чтобы понять характер и весь умственный и нравственный облик Александры Феодоровны, необходимо обратиться к ее юношеским годам и к той обстановке, в которой она родилась и выросла. Обстановка же эта была двойственная: маленький, серенький, бившийся в денежных затруднениях германский двор, сохранивший от прежней власти лишь одно — строжайший этикет и тем прочнее его державшийся, чем больше ускользала фактическая власть, с одной стороны, и пышный, тоже скованный этикетом, но вращающийся в необыкновенной роскоши и средневековых традициях, английский двор, с другой стороны, — вот та обстановка, в которой воспиталась молодая принцесса Гессенская Алиса. Чуждая, само собою разумеется, всякой политики, совершенно не разбиравшаяся в степени действительной власти, присущей тем коронованным лицам, жизнь которых она разделяла, от природы гордая, властная, Принцесса Алиса с юности не признавала никого равным себе.

Если государь, как все слабовольные люди, мечтал лишь об одном — свести дарованные им народу права по возможности к нулю, то иначе Смотрел на дело Столыпин. Он с места задался целью примирить общественность с властью, причем продолжал думать, что даже у наиболее злобных представителей общественности мотивом к оппозиции является возмущение некоторыми наиболее, по условиям времени, яркими пережитками прошлого. Он искренно был убежден, что достаточно государственной власти осуществить определенные реформы, отменить вызывающие наибольшее раздражение передовой общественности правила, доказать тем самым, что правительство вполне искренно желает считаться с общественным мнением, чтобы обезоружить оппозицию и завоевать общественные симпатии. В частности, он считал, что и в области земельного вопроса необходимо сделать довольно существенные уступки требованиям, провозглашенным распущенной Государственной думой.

Первые слова, сказанные им мне после своего назначения главою правительства, были: «Перед нами до собрания следующей Государственной думы 180 дней. Мы должны их использовать всю, дабы предстать перед этой Думой с рядом уже осуществленных преобразований, свидетельствующих об искреннем желании правительства сделать все от него зависящее для устранения из существующего порядка всего не соответствующего духу времени».

Эту фразу он повторял мне впоследствии неоднократно, и я уверен, что он ее говорил и всем членам своего кабинета и другим своим сотрудникам по Министерству внутренних дел.

Однако надо сказать, что главная цель, которую он преследовал, была не улучшение условий народной жизни, не усовершенствование порядка управления страной, а укрепление государственной власти, поднятие ее престижа и примирение с нею культурной общественности. Эту цель он стойко и последовательно преследовал за все время нахождения у власти и, несомненно, много в этом отношении достиг.

В соответствии с этим осуществляемые реформы интересовали его не столько сами по себе, а в отношении того влияния, которое они окажут на развитие страны, а преимущественно поскольку они будут приветствованы определенной частью общественности и тем самым могут содействовать подъему ореола власти, а следовательно, ее крепости и силы.

При этом он почти с места совершенно правильно разделил русские общественные круги на две резко различные части, а именно на те, которых никакими произведенными реформами не удовлетворишь, ибо цель их единственная и всепоглощающая — достигнуть власти, и те, которым дороги судьбы России, [которые] искренно болеют о разъедающих ее язвах и, следовательно, способны оценить усилия правительства, направленные к исцелению этих язв. К первым он причислял, в особенности после Выборгского воззвания, лидеров кадетизма, ко вторым — русские либеральные общественные круги, кристаллизовавшиеся в политическом отношении в партии октябристов. Правда, вначале ему не чужда была надежда привлечь симпатии многих членов и в кадетских кругах, чем, между прочим, и была вызвана первая серьезная проведенная им мера, а именно передача Крестьянскому банку всех казенных и удельных и части кабинетских годных для обработки земель для продажи крестьянам. Мере этой Столыпин придавал исключительное значение, полагая, что она произведет благоприятное впечатление в крестьянской среде и вырвет у кадет один из боевых и прельщающих сельское население пунктов их программы. Я был обратного мнения. По существу, мера эта не имела значения, так как земли эти и без того почти целиком находились в крестьянском пользовании (они сдавались им на льготных условиях в аренду), а принятие ее могло лишь усилить надежды крестьян на получение всех частновладельческих земель: добились, мол, частичного исполнения кадетской программы, добьемся, следовательно, и полного ее осуществления.

Всего труднее Столыпину было получить согласие царской семьи на отчуждение удельных земель. Государь, справедливо признавая, что удельные земли составляют собственность всего русского императорского дома, не хотел решить этого вопроса единолично. По этому поводу

Столыпин мне рассказывал, что он ездил специально с этой целью к великому князю Владимиру Александровичу и его супруге Марии Павловне, и сколь неохотно они выразили свое согласие. Меня Столыпин почитал, не без основания, столь враждебно настроенным против этой меры, что даже скрыл предпринимаемые по этому поводу шаги, пока они не привели к благоприятному (по его мнению) результату.

Вообще, на тему о принудительном отчуждении земли Столыпин со мною не беседовал, и я лишь случайно узнал, что намерения его шли в этом направлении значительно дальше. Узнал я об этом от гр. А.А. Бобринского, которому Столыпин, как раз в первое время своего премьерства, сказал: «А вам, граф, с частью ваших земель придется расстаться».

Понял я тогда, почему Столыпин так настойчиво возражал против моего выступления в Государственной думе по земельному вопросу, а в особенности почему он не хотел, чтобы я говорил от лица Министерства внутренних дел. Он, очевидно, вел уже в то время переговоры с некоторыми думскими лидерами, причем весьма вероятно, что он готов был принять и земельную реформу кадетской партии. Абсолютный невежда в экономических вопросах, Столыпин не понимал совершенно, что упразднение частного землевладения в России равносильно ее экономическому краху, при котором крестьянство пострадает едва ли не в первую голову.

Впрочем, повторяю, Столыпин мало заботился о тех конкретных последствиях, которые будут иметь проводимые им меры. Учитывал он почти исключительно их психологическое значение, то влияние, которое принятие их может оказать на укрепление престижа власти, на степень симпатии к правительству как политических вожаков, так и широких слоев населения.

С своей стороны я решительно не мог смотреть на те или другие принимаемые государством меры только как способы «*captatio benevolentiae*», хотя, разумеется, не мог и не признать психологического значения того или иного занятого правительством положения.

Вообще, ни характером, ни складом мышления мы со Столыпиным не сходились. У Столыпина премировали во всех его предположениях теоретические соображения, и здесь он был, несомненно, мастером. Верхним чутьем он инстинктивно постигал ту политическую линию, которой надо придерживаться для овладения популярностью, причем спешу сказать, что популярности этой он искал не для себя лично, а для всего представляемого и возглавляемого им государственного строя. Кроме того, в начале своей государственной деятельности он выказывал большую личную скромность, вполне сознавая, что он недостаточно подготовлен по многим основным

вопросам государственного бытия. Со временем это радикально изменилось — но об этом дальше.

Следом за высочайшим указом о передаче крестьянам казенных и удельных земель, мерой, поскольку мне известно, в Совете министров вовсе не обсуждавшейся (по крайней мере, при мне в Совете министров она не обсуждалась), приступил Столыпин к попытке осуществления крупных реформ по другим ведомствам. Одной из крупных значительного масштаба реформ, обсуждавшихся в Совете министров, был проект Министерства народного просвещения о введении в России обязательного всеобщего обучения. Обсуждался этот проект вечером 11 августа на даче министра внутренних дел на Аптекарском острове, т.е. накануне произведенного на ней покушения, унесшего множество жертв.

Докладывал этот проект и защищал его положения не сам министр Кауфман, по-видимому даже довольно слабо с ним ознакомившийся, а его товарищ Герасимов. Столыпин, как всегда, ограничивался тем, что предоставлял по очереди голос записавшимся и сам не только не руководил прениями, но вообще не высказывался вовсе. Председатель он был вообще слабый и притом совершенно лишенный дара резюмировать происходящие прения и высказываемые суждения. Случалось, что он вдруг с жаром скажет несколько слов по поводу высказанного кем-либо мнения, но при этом было именно больше жара, чем доводов, опровергающих оспариваемое им мнение по существу. Вообще, первое движение Столыпина было неизменно подсказано ему врожденным благородством чувств и намерений, что не мешало, однако, тому, чтобы впоследствии брали у него верх другие соображения, более утилитарного свойства, неоднократно заставлявшие его принимать решения, далекие от отвлеченной справедливости.

Проект, внесенный Министерством народного просвещения, был чисто детский по своей утопичности. Недостаточно было провозгласить принцип всеобщего обязательного обучения (его в свое время скоропалительно провозгласили и большевики), надо было еще иметь возможность его практически осуществить. Враг всякого bluff^{а7} и широковещательных, не покоящихся ни на каких реальных основаниях предположений и обещаний, я в этом смысле и высказался в Совете министров, указав, что раньше, чем провозглашать обязательность всеобщего обучения, надо подготовить достаточный учительский персонал и что Министерство народного просвещения лучше бы сделало, если бы проектировало учреждение толково подготовленных инструкторов преподавателей как для низших, так, кстати сказать, и для средних учебных заведений. Решительно возражал против проекта, по обыкновению с точки зрения предположенных для его осуществления денежных ассигнований казны, и Коковцов. Столыпин безмолвствовал, и заседание кончилось, как всегда, не отклонением проекта,

а предложением министерству его переработать, что, в существе, сводилось к тому же самому⁸.

На этом члены Совета разъехались, совершенно не подозревая, что только что избежали большой опасности. Как впоследствии выяснилось, террористы, произведшие покушение на дачу министра на другой день, проезжали в этот вечер мимо нее, имея с собою взрывчатые снаряды и думая их бросить в выдававшееся на улицу широкое окно (вернее, стеклянный выступ) той комнаты, где заседал Совет министров, но так как между дачей и улицей был небольшой палисадник, то в последнюю минуту они отказались от этой мысли, полагая, что брошенная ими бомба не достигнет цели. Впрочем, я не ручаюсь за достоверность этого, ибо рассказ об этом никогда не заинтересовался проверить.

На другой день, часа в три, находясь в министерстве, мне понадобилось переговорить о чем-то со Столыпиным по телефону, и я попросил секретаря соединить меня с ним. Не прошло и нескольких минут, как секретарь, взволнованный и бледный, влетел ко мне в кабинет и сказал, что с дачи Столыпина, с которой он соединился, дежурный чиновник просил его дать немедленный отбой, так как ему необходимо снестись тотчас с каким-либо доктором. На даче пожар и есть жертвы¹.

Тотчас, разумеется, я поехал туда и приехал одним из первых. До меня прибыл лишь градоначальник Лауниц. На даче застал я ужасную картину:

у подъезда стояло наемное ландо, лошади которого лежали убитые. Сама дача представляла развалины. Вся ее передняя часть была разрушена. Передняя стена обвалилась, и видны были обширная передняя и соседняя с нею маленькая приемная с обрушившимися потолками, увлекшими за собою меблировку соответствующих комнат верхнего этажа, где жили дети Столыпиных. Тут же лежали, чем-то прикрытые, тела убитых: их было несколько, а именно все находившиеся в момент взрыва в передней. Изувеченная дочь Столыпина — у нее были перебиты ноги — была перенесена в другое здание. Малолетний сын Столыпина, тоже провалившийся вместе с потолком в нижний этаж, был найден среди всевозможных обломков совершенно невредимым.

Столыпин был, несомненно, смелый, мужественный человек: он сам извлек своего сына из обломков и, невзирая на испытанное им потрясение, сохранил полное спокойствие. Силой взрыва он сам, находившийся за две комнаты от его центра, равно как бывшие у него в это время в кабинете симбирский губернский предводитель дворянства Поливанов и председатель губернской управы Беляков были отброшены на пол, причем свалившаяся со стола чернильница своим содержанием облила затылок и шею Столыпина. Тотчас следом за мною приехал Коковцов. Как сейчас вижу следовавшую за этим

небольшую сценку. В крошечной уборной, выходящей в сад, стоит Столыпин и, скинув верхнее платье, старается отмыть облившие его чернила. По одну его сторону стоит Коковцов, по другую — я. Мокрый, со струящейся с него водой, Столыпин, несколько возбужденный, с жаром говорит: «Это не должно изменить нашей политики; мы должны продолжать осуществлять реформы; в них спасение России». И это не была поза. Столыпин в эту пору, в первом пылу государственного творчества, был действительно всецело предан мысли о реформах России и думал лишь о них.

Через несколько дней после этого трагического события состоялось заседание Совета министров в доме министра внутренних дел, что на Фонтанке, куда после взрыва на даче, ставшей совершенно необитаемой, переехал Столыпин. Заседание происходило в церковной аванзале, окна которой давали во двор. После взрыва на даче передние комнаты с окнами на улицу почитались небезопасными. Установлены были и некоторые формальности для лиц, входивших в дом, занимаемый Столыпиным. На заседании этом обсуждался проект земельного устройства крестьян в Закавказье. Докладывал проект Петерсон, начальник канцелярии наместника на Кавказе. Присутствовал представитель наместника на Кавказе в Петербурге, барон Нольде. В самый разгар прений в залу вошел курьер и передал Столыпину какой-то конверт, с содержанием которого он тотчас ознакомился и немедленно вслед за сим сказал, что он имеет доложить Совету одно очень спешное дело, а потому вынужден перенести рассмотрение обсуждаемого проекта на другой день. Попросив засим присутствовавших чиновников канцелярии Совета министров удалиться, Столыпин прочел полученный документ. Оказалось, что это была собственноручная записка государя, довольно длинная, дословное содержание которой я, конечно, не помню, но началась она со слов: «Я желаю, чтобы немедленно были учреждены военно-полевые суды для суждения по законам военного времени». Дальше говорилось о тех политических преступлениях (террористических актах, вооруженных выступлениях и т.п.), которые должны быть подведомственны этим судам.

Впечатление, произведенное этой запиской, было огромное. Мера эта в ту минуту, очевидно, не совпадала с намерениями Столыпина, все еще мечтавшего справиться с революцией мерами конституционными. Насколько помнится, не сочувствовал этой мере и министр юстиции Щегловитов, столь решительно впоследствии вторгавшийся своим личным произволом в дела правосудия.

На другой день после этого заседания я вынужден был выехать за границу к моей матери, о тяжелой болезни которой получил известие. Вернувшись примерно недели через две в Петербург, я уже на границе прочел утвержденные правила об учреждении военно-полевых судов, которые и

начали немедленно действовать. Узнал я при этом, что за мое отсутствие обсуждался и другой способ борьбы с подпольным террором, на мой взгляд, наиболее действительный, а именно введение института заложничества: смертная казнь над осужденными к ней не приводится в исполнение, и они сохраняются в виде заложников и подвергаются ей в случае совершения нового террористического акта. Институт этот был почти с места введен большевиками, и среди принятых ими мер эта мера, поскольку она касалась лиц, уличенных в контрреволюции, наименее незаконная. Революционеры в 1906 г. вели открытую борьбу с государственной властью, и последняя, на мой взгляд, не только имела право, но обязана была принять все меры для охранения государства от крушения и для обеспечения нормального порядка управления страной. Ложная сантиментальность и фальшивый либерализм, проявляемый в отношении к врагам государства, отражались на всем ходе государственного управления и, следовательно, нарушали интересы миллионов людей.

Иначе смотрел на это Столыпин. Он с ужасом отмахнулся от предлагаемого способа борьбы, причем одновременно твердо стоял на мысли о проявлении правительством широкой государственной деятельности. Везил он, вероятно, при этом в свою счастливую звезду. Счастье ему действительно в это время улыбалось. Взрыв на даче Аптекарского острова, правда ценой страданий его искалеченной дочери (впоследствии, однако, вполне поправившейся), сделал больше для его популярности, для привлечения к нему симпатий всех, не окончательно захваченных революционным психозом, чем все проведенные им либеральные меры. Вообще скажу кстати, что Столыпин был одним из редких сотрудников Николая II, которому можно было придать титул *felix*, почитавшийся римлянами за наивысший. В общем, наоборот, как сам покойный государь, так и большинство его сотрудников родилось под несчастной звездой; злой рок их тщательно преследовал, а через них и всю Россию. Счастье не покинуло Столыпина до самого конца его жизни: он умер на своем посту, накануне увольнения от должности и, что больше, незадолго до поджидавшей его уже смерти: при вскрытии его тела выяснилось, что наиболее жизненные его органы были настолько истрепаны, что, по свидетельству врачей, жить ему оставалось очень недолго.

Как бы то ни было, застал я в конце августа 1906 г. правительство в творческой реформаторской лихорадке. Я, конечно, не преминул этим воспользоваться, чтобы попытаться осуществить давнюю мою мечту, а именно — предоставить крестьянам право свободного выхода из общины. Была образована под моим председательством междуведомственная комиссия, которая обсуждала и пересмотрела уже дважды внесенный в высшие учреждения — сначала в Государственный совет в марте 1906 г., а затем в Совет министров в мае 1906 г. — проект правил о выходе из общины. Составлено было затем соответствующее представление в Совет министров, и я принес его к подписи Столыпину, однако в последнюю минуту Столыпин

не решился его подписать и просил меня это сделать «за министра внутренних дел», сказав, что он недостаточно знаком со сложным вопросом крестьянского землепользования и что посему, если в Совете министров будут предъявлены серьезные возражения по некоторым частностям выработанных правил, то ему легче будет согласиться на соответствующие изменения, если под проектом не будет значиться его подпись.

Наступил, наконец, и день рассмотрения выработанного проекта в Совете министров. Мне нечего говорить, с каким волнением я его ожидал. Целых четыре года напрягал я все усилия к тому, чтобы высвободить русское крестьянство из-под общинного ига, прибегая для этого ко всевозможным ухищрениям, и до тех пор все тщетно.

Придя на заседание Совета, я, к величайшему своему ужасу, увидел среди присутствующих престарелого члена Государственного совета, участника крестьянской реформы 1861 г. П.П. Семенова-Тянь-Шанского, ярого защитника общины. «Неужели, — подумал я, — Столыпин пригласил его на обсуждение правил о выходе из общины? Ведь это значило бы, что он сам им не сочувствует». Но в это время ко мне подошел Столыпин и сказал: «Не говорите ничего о вашем проекте, пока здесь Семенов; он нам помешает; он здесь по делу Алексеевского Комитета».

Действительно, дело, по которому прибыл Семенов, заняло весьма мало времени, и Совет министров тотчас по его отъезде наконец приступил к рассмотрению проекта, о коем идет речь. Первым высказался кн. Васильчиков, заменивший Стишинского на посту главноуправляющего землеустройством.

Кн. Б.А. Васильчиков — тип просвещенного барина, русского европейца, был убежденный конституционалист. Высоко во всех отношениях порядочный и неглупый человек, он не был, однако, ни работником, ни истинно государственным человеком. Это был министр типа времен Николая Павловича — прямой, честный, не склонный ради благ земных угодничать, имевший свой *franc parler* и перед восседающими на престоле, но при этом ни с каким делом в его подробностях незнакомый — и в полном смысле слова дилетант, а потому руководствующийся здравым смыслом, но совершенно не способный со знанием руководить каким-либо сложным делом. На посту своем он оставался недолго — всего несколько месяцев и был заменен Кривошеиным. Ушел он, кажется, по неладам с Коковцовым, который отказывал ему в денежных ассигнованиях. Огромные средства и принадлежащее ему по рождению высокое общественное положение — все это давало ему независимость, которая позволяла ему не идти ни на какие компромиссы и «истину царям» даже без улыбки «говорить».

Кн. Васильчиков заявил, что он всецело сочувствует проекту, согласен во всех его подробностях, но при этом, однако, не считает возможным высказаться за его немедленное, по статье 87 Основных законов, осуществление.

— Я, — сказал Васильчиков, — почитаю себя конституционным министром и поему считаю, что такие важные мероприятия без участия законодательных палат приняты быть не могут.

На это заявление я, с своей стороны, возразил, что положение это правильно лишь в обыкновенное, нормальное время. В переживаемые же ныне времена перед этим формальным соображением останавливаться нельзя. Вопрос сводится лишь к тому, целесообразна ли предлагаемая мера или нет. Жизненный интерес родины выше соблюдения тех или иных предписаний закона. По моему же глубокому убеждению, упразднение общинного землепользования — единственный способ обеспечения в стране основ современной общественности, как то право собственности, равно как самое рациональное средство для обеспечения крестьянского благосостояния.

Засим говорил Коковцов, с присущим ему многословием и малым внутренним содержанием. Понять из его слов, за он или против проекта, было довольно трудно. Перешли к постатейному рассмотрению, и хотя почти каждое правило вызывало со стороны того или другого министра какие-либо возражения, но все же они все благополучно принимались. Запнулись на статье, упразднявшей у крестьян, как подворных, так и общественников, начало семейной собственности. Против установления права личной собственности на состоящие в их владении надельные земли у подворников не возражали, но против распространения того же порядка на крестьян-общественников решительно возражали. Как я ни бился, ничего не мог достигнуть.

Столыпин, по обыкновению, молчал, предоставив мне одному отстаивать внесенный проект. В результате принцип семейной собственности по отношению к общинникам был сохранен, и лишь три года спустя, когда изданные в порядке статьи 87 Основных законов правила были рассмотрены законодательными учреждениями и превратились в закон 11 июня 1910 г., мое первоначальное предположение, а именно признание за домохозяевами-общинниками права личной собственности на принадлежащее им имущество (усадыбы), было наконец осуществлено. Практически это имело, однако, незначительное значение, так как на деле в русской крестьянской семье римское *patria potestas*¹³ — эта основа крепости древнего Римского государства, да и всякого общественного конгломерата, искони почиталась неоспоримой. С ослаблением нравов, с падением среди русской крестьянской молодежи авторитета главы семьи, сохранение в законе принципа семейной

собственности способно было бы усилить распад семьи — этой основной ячейки человеческих сообществ.

Как бы то ни было, выходя из заседания Совета министров, одобрившего в общем правила о выходе из общины, я был несказанно рад. «Ныне отпускаеши», — сказал я себе мысленно, и эта промелькнувшая у меня мысль оказалась пророческой: не прошло и трех месяцев, как я фактически был устранен от всякого участия в государственном управлении.

Еще до рассмотрения правил о выходе из общины Советом министров был одобрен проект другого указа, изданного 5 октября 1906 г., тоже выработанного в образованном под моим председательством междуведомственным совещании. Касался он установленных законом различных ограничений в праве лиц крестьянского сословия. Материалы по этому вопросу были все давно подготовлены в земском отделе еще при разработке проектов новых узаконений о крестьянах, а посему работала комиссия весьма непродолжительное время.

Выработанный ею проект был представлен в Совет министров за подписью Столыпина; заключал он отмену едва ли не всех правоограничений лиц крестьянского сословия и, в сущности, уравнивал права всех сословий в Российской империи; отменял он и присвоенную законом дискреционную власть земских начальников по отношению к крестьянам (3 дня ареста и 5 рублей штрафа), власть, подвергавшуюся в оппозиционной печати столь продолжительной и всеобщей критике.

Не обошлось, однако, при рассмотрении упомянутого проекта в Совете министров без маленького инцидента. По поводу какого-то внесенного в него правила, касающегося волостных судов, предъявил какие-то возражения товарищ министра юстиции сенатор Гасман. Возражения были консервативного свойства (к этому времени министр юстиции Щегловитов уже заметно скинул с себя ту либеральную маску, которую он счел нужным носить при наличии Первой Государственной думы, и, очевидно, дал соответствующие инструкции своим сотрудникам). Я прибег к еще при Плеве усвоенному мною в подобных случаях методу, а именно защите отстаиваемого положения не по либеральным, а по ультраконсервативным мотивам, и, между прочим, сказал: «В качестве доброго черносотенца, я полагаю» — и т.д. Фраза, очевидно, крайне не понравилась Столыпину, который щепетильно отстаивал в ту пору свой либерализм и не мог допустить, чтобы говорили, что его ближайшим помощником по Министерству внутренних дел состоит черносотенец. Не принимая, по обыкновению, никакого деятельного участия в отстаивании внесенного за его подписью проекта, он в данную минуту ничего не сказал, но по окончании рассмотрения Советом этого дела, одобренного им безо всяких изменений, счел нужным вдруг заявить: «Ну, мой черносотенный товарищ так

налиберальничал сегодня, что я опасаюсь, что он предложит нам вскоре упразднить всякие власти, если пойдет дальше в этом его черносотенном направлении».

Сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы 1906 г. сплошь были посвящены Советом министров рассмотрению самых разнообразных проектов, предложенных к осуществлению в порядке все той же статьи 87 Основных законов. Из этих проектов мне припоминаются в особенности два, составленные по Министерству внутренних дел: один по департаменту духовных исповеданий, а другой по департаменту общих дел.

Первый из них касался свободы исповеданий. В основу его была положена американская система признания за церковную общину, с присвоением ей соответствующих гражданских прав, всякого сообщества числом не менее, кажется, двадцати лиц, которое выразит любые духовные верования, если только они не противоречат законам этики (старобрядцы), безразлично от того, поскольку они сходятся с догматами православной религии. Такая непостижимая широта взглядов, непосредственно следующая за веками практиковавшейся нетерпимостью даже к таким родственным православию сектам, как раскольников, мне казалась и опасной и несвоевременной. Мера эта давала такой простор всевозможному сектантству, который мог внести глубокую смуту в религиозное сознание народа. Мне, конечно, как всякому, известно было то распространение, которое приобрела на Юге России штунда¹⁴.

Хотя я отнюдь не затруднялся самым решительным, скажу даже дерзким, образом возражать против предположений, вносимых Столыпиным в Совет министров, но я все же понимал, что один ничего не достигну, а посему перед началом заседания Совета обратился к заменившему Шихматова на посту обер-прокурора Св. синода П.П. Извольскому, выразив надежду, что он самым решительным образом воспротивится осуществлению некоторых предположений подлежавшего рассмотрению проекта. Мотив у него был ясный и напрашивавшийся сам собою — невозможность осуществления таких предположений, не запросив, хотя бы предварительно, мнения Св. синода.

П.П. Извольский, попавший в кабинет Столыпина, очевидно, благодаря своему брату, министру иностранных дел А.П. Извольскому, с которым, как я уже упомянул, Столыпин вел совместную кампанию во время существования Первой Государственной думы, едва ли имел в то время какие-либо познания в области церковных вопросов. Инспектор народных училищ в Киеве, где он вращался в кружке кн. Е.Н. Трубецкого, бывшего в то время профессором Киевского университета, и проникнулся взглядами радикальной общественности, Извольский был впоследствии попечителем сначала Киевского, а затем Петербургского учебного округа и решительно

ничем не выделялся. По характеру человек мелкий и нерешительный, а по природе добрый и не способный к какому-либо противодействию, Извольский все же, к некоторому моему удивлению, настолько это не сходилось с теми интересами, которые он по должности обязан был защищать, поначалу сказал мне, что он не видит оснований возражать против предположенных правил. Однако после неособенно продолжительной беседы со мною он заявил, что против предположений он будет возражать. Приступили следом к обсуждению проекта. Столыпин, по обыкновению, лично не входивший в суть дела, пропускал статью за статьей при отсутствии с чьей-либо стороны возражений. Молчал и Извольский. Пришлось поневоле вступиться мне. Изложив те мотивы, по которым я по существу не мог согласиться с установлением в стране вероисповедной анархии, я обратился к Столыпину и сказал ему приблизительно следующее: «Вы стремитесь привлечь к правительству симпатии общественности и ослабить оппозицию, но имейте в виду, что настоящую оппозицию, ту, которая сеет смуту, вы никакими уступками не ублажите. Ей если нужны различные свободы, то лишь для того, чтобы использовать их для свержения существующей власти. А та часть общественности, которую вы действительно можете привлечь на сторону правительства, умеренно-либеральные и умеренно-консервативные круги, неужели вы думаете, что они будут приветствовать изобретенные правила и расшатывание значения православной церкви. Не знаю, как на это смотрит обер-прокурор Св. синода, но знаю, что если вы и добьетесь предположенной мерой некоторого благоволения радикальных кругов, то зато восстанете против себя не только крайних правых, с которыми вы и ныне с трудом боретесь, но и умеренно-правых, а пренебрегать их опорой правительство не может».

Столыпин, очевидно слабо ознакомившись до сих пор с им же представленным проектом, как будто оживился, и горячо возразив мне, что его нельзя подозревать в желании подорвать значение православной церкви, однако сразу иначе отнесся к обсуждаемому проекту. Восстал против него и обер-прокурор Св. синода. В результате проект был отвергнут.

Любопытные передраги испытал проект предоставления евреям различных льгот, по сравнению с действующими законами. Тут были и льготы по физическим условиям, препятствующим принятию в войска, и льготы в смысле поступления в учебные заведения, и расширение круга лиц еврейского происхождения, имеющих право жительства вне черты еврейской оседлости.

В день рассмотрения этого проекта, составленного департаментом общих дел Министерства внутренних дел, я встретился, приехав на заседание Совета, в передней Зимнего дворца (Столыпин почти тотчас после покушения на Аптекарском острове переехал во вторую, запасную половину Зимнего дворца) с П.Х. Шванебахом.

— Вы читали еврейский проект? — сказал он мне. — Это нечто совершенно недопустимое. Я надеюсь, что вы будете возражать.

— Да, я тоже нахожу его несвоевременным и не достигающим цели, но возражать мне не совсем удобно. Все-таки он подписан моим шефом — Столыпным. Начните возражать, а я вас поддержу.

Однако и с этим проектом произошло поначалу то же, что произошло с проектом о свободе вероисповеданий. Статьи проекта, одна за другой, проходят как по маслу. Никто не возражает, в том числе и Шванебах, невзирая на мои обращенные к нему знаки: «Что же, мол, вы!»

Опять пришлось мне выступить первым, но постарался я говорить мягко и пока что коснуться не всего проекта вообще, а какого-то отдельного, обсуждавшегося в ту минуту, правила его.

В защиту проекта выступил Коковцов, обсуждавший многие проекты с точки зрения того влияния, которое произведет их принятие на биржу.

Начал он с заявления, что евреев не любит и признает тот разнообразный вред, который они приносят, «но, — продолжал он, — я убедился, что всякие меры относительно евреев совершенно бесполезны. Евреи настолько ловки, что никакими законами им путь не преградишь. Совершенно бесполезно запирасть им куда-либо двери — они тотчас находят те отмычки, при помощи которых двери эти можно отворить. В результате получается бесполезное раздражение еврейства, с одной стороны, и создание, с другой, почвы для всевозможных злоупотреблений и вмешательства со стороны администрации и полиции. Законы, стесняющие евреев, дали не что иное, как доходные статьи для разнообразных агентов власти».

Оставить без возражения такое странное рассуждение я был не в силах.

— Первый раз слышу, — заметил я, — что если где замки не действуют, ибо их открывают отмычками, то их надо просто снять. Одно из двух: или присутствие евреев безвредно, и [следует] в таком случае упразднить все установленные по отношению к ним правоограничения, и в первую очередь упразднить черту еврейской оседлости, или, наоборот, они являются разлагающим элементом, и в таком случае, если навешенные против них замки недействительны, то [нужно] заменить их засовами или чем-либо иным, отвечающим цели.

Первое, быть может, самое лучшее. Население страны, в том числе и наша интеллигенция, лишённая механической защиты от засилья еврейства, поневоле выработает в себе самом силу сопротивления, как это уже произошло в значительной степени в пределах черты оседлости. Перестанет умиляться их участию и наша интеллигенция, испытав сама силу еврейского

засилья, хотя бы, например, в школе. Принятие частных мер в смысле уравнивания прав евреев с правами остальных граждан может иметь только отрицательные результаты. Оно не удовлетворит евреев, не ослабит их революционности, но зато придаст им лишнее орудие, даст большую возможность бороться с правительством. Всем известна та роль, которую играло еврейство в продолжение смуты. Что же, в награду за это им предоставляются льготы?!

Вслед за этим в прения вступили и другие из присутствующих, причем сразу обозначились два резко противоположных лагеря. Столыпин поначалу как будто защищал проект, но затем видимо смутился и сказал, что переносит решение вопроса на другое заседание.

Мои возражения, быть может действительно слишком резкие, по-видимому, раздражали господ министров, и это тем более, что к их составу я не принадлежал, а продолжал присутствовать на большинстве заседаний Совета лишь по установившемуся со времени Горемыкина, специально этого пожелавшего, обыкновению. Заметив это, я на другой же день сказал Столыпину, что опасаюсь, что мое участие при рассмотрении вопроса о льготе евреям может иметь обратное действие тому, которое мне представляется желательным, а посему на следующем, посвященном этому вопросу заседании Совета участия не приму, ему же считаю своим долгом высказать еще раз подробно те мотивы, по которым мне представляется принятие внесенного им проекта во всех отношениях вредным.

На следующем же заседании, на котором я не был, произошло следующее. Ранее чем приступить к обсуждению проекта, члены Совета по предложению Столыпина решили, что в этом вопросе меньшинство Совета подчинится большинству, на чем бы оно ни остановилось, иначе говоря, что журнал Совета по этому делу будет представлен государю с единогласным мнением. Обыкновенно при разногласии в Совете министров государю представлялись оба мнения — большинства и меньшинства, и от Николая II зависело утвердить любое.

Пришли к упомянутому решению из следующего весьма правильного соображения, а именно нежелания перенести на царя ответственность за то или иное решение этого вопроса. Действительно, если бы государь согласился на признание за евреями некоторых новых прав, то это неминуемо вызвало бы неудовольствие всех правых кругов общественности; наоборот, если бы он их отклонил, вопреки мнению хотя бы части правительствующего синклита, то это усилило бы злобу против него еврейства, чем пренебрегать не следовало. Правда, дела, проходившие в Совете, содержались в тайне, но тайна эта была весьма относительная, и заинтересованные круги всегда умудрялись тем или иным путем быть в курсе того, что там происходило.

Результат получился, однако, совсем неожиданный. Большинство Совета проект одобрило, причем самое любопытное, что в числе меньшинства был Столыпин, сам внесший проект на обсуждение господ министров, а государь, невзирая на единогласное мнение Совета, не утвердил его, поступив, таким образом, как бы вопреки всему составу правительства и приняв, следовательно, всецело на себя всю ответственность за его неосуществление.

По поводу отклонения этого проекта по Петербургу ходили разные версии. Рассказывали, что тут главную роль сыграл тот самый Юзефович, который был одним из авторов манифеста об укреплении самодержавия;

говорили, что сам Столыпин советовал царю его не утверждать. Были и другие версии; какая из них справедлива, я не знаю.

В течение сентября, октября и ноября 1906 г. правительство было охвачено реформаторским пылом. Извлечен был список дел, составленный при Витте комиссией А.П. Никольского, предположенных для представления в Государственную думу. Рассматривались не только проекты, предложенные на утверждение по ст. 87 Основных законов, т.е. без участия законодательных учреждений, но и такие, которые заготавливались для утверждения в нормальном законодательном порядке, но, странное дело, почти ни один из них законной силы ни тем, ни другим путем не получил.

Припоминаю рассмотрение в Совете проекта подоходного налога, реформы, осуществленной лишь в 1915 г., уже во время войны. Проект докладывал тогдашний товарищ министра финансов Н.Н. Покровский, но Совет министров просто-таки с ним не справился. Да оно и немудрено. Кроме Коковцова, внесшего проект, и государственного контролера Шванебаха, с экономическими вопросами, и в частности, с податными системами, решительно никто из членов Совета знаком не был. Обсуждение проекта приняло поэтому, во-первых, хаотический характер, за полным неумением Столыпина вести деловые заседания, а во-вторых, высказываемые суждения составляли какую-то странную смесь обывательщины с архаичностью.

Во что вылилась дальнейшая деятельность Совета министров при Столыпине, как он готовился встретить Вторую Государственную думу, собравшуюся 1 февраля 1907 г., я не знаю. В декабре 1906 г. надо мною было наряжено следствие по делу о заключении контракта на поставку хлеба для голодающих местностей с неким Лидвалем, который принятые на себя обязательства не исполнил, отчего казна потерпела некоторый ущерб, и я фактически перестал входить в состав правительства.

Дело Гурко—Лидваля, как его тогда называли в прессе, наделало огромного шума. Пресса обливала меня всевозможною грязью.

Само собою разумеется, что я не стану входить в подробности этого дела, не могущего кого-либо интересовать, не стану тем более оправдываться, ибо, спрашивается, какое могут иметь значение оправдания, идущие от самого обвиняемого лица.

Скажу лишь несколько слов о роли в этом деле Столыпина.

Мои друзья, да и не они одни, утверждали в то время, да и впоследствии, что Столыпин дал этому делу ход из личной ко мне неприязни: доходили даже до утверждения, что во мне он хотел уничтожить опасного для него соперника. Я самым решительным образом это отрицаю. Мои отношения с Столыпиным были действительно неровные, и он вряд ли чувствовал ко мне симпатию, но руководствовался во всяком деле, меня касавшемся, исключительно государственной пользой, как он ее понимал. Он хотел фактически доказать обществу, что власть не останавливается перед самыми решительными мерами по отношению к своим представителям, какое бы положение они ни занимали, коль скоро имеется малейшее подозрение в незаконности их действий. Впрочем, после невероятного шума, поднятого вокруг этого дела, довести его до суда было и в моих интересах, ибо только суд мог его представить в истинном свете и освободить от всей той грязи, которой его старательно покрывали.

Иное дело — радикально оппозиционная пресса. Она действительно накинулась на меня не только потому, что хотела использовать это дело для вящего развенчания правительства в широких общественных кругах, но и потому, что рада была случаю возместить на мне всю ту злобу, которая накопилась против меня со стороны большинства Первой Государственной думы как за речь мою по аграрному вопросу, так и вообще за мое отношение к этому думскому большинству.

Правда, Столыпину нужно было не только мое предание суду, но и осуждение, ибо, убежденный, что в случае оправдания пресса станет доказывать, что и самое предание суду было просто маской, а оправдание было вперед решено, он полагал, что только осуждение меня может доказать обществу, что власть не церемонится со своими представителями любого ранга. Рассуждал он при том вполне правильно, а именно, что коль скоро, с государственной точки зрения, ценой судьбы одного человека можно принести пользу государству в его совокупности, то перед такой жертвой государственный деятель останавливаться не должен*.

* Мысленно я упрекал Столыпина, упрекаю его и доселе, лишь за одно, а именно что он не пожелал лично появиться на суде и там публично дать свои свидетельские показания, а потребовал, чтобы суд в полном составе явился к нему в Каменноостровский дворец, в котором он в то время жил, и там, при закрытых дверях, дал свои показания, предпослав им пышный дифирамб

моей деятельности. Самый вызов не свидетеля в суд, а суда к свидетелю, хотя закон на это давал право лицам, состоящим в определенном чине или классе должности, был фактом беспримерным и свидетельствовал о том, до какой бесцеремонности дошел Столыпин уже год спустя после своего назначения главой правительства, о чем я в дальнейшем скажу несколько слов. Мне казалось, что обязанность Столыпина, не по отношению ко мне, а в интересах защиты престижа власти, состояла в том, чтобы присутствовать на суде с самого начала и, таким образом, вполне выяснить для самого себя, виноват ли я в чем-либо или нет, и в зависимости от создавшегося у него убеждения либо призвать на меня все громы и кары правосудия, либо, наоборот, указать на то, что правительство не остановилось перед преданием суду одного из своих ставленников, коль скоро появилось у общественности подозрение в законности его действий, но оно же считает долгом, по выяснении истинных обстоятельств дела, защищать своих слуг от клеветы и грязи, которые, преследуя все ту же цель — развенчать в общественном мнении власть, столь недобросовестно нагромождала оппозиция.

Итак, в дальнейшем изложении событий и изображении действующих лиц той эпохи, которой касаются набрасываемые мною силуэты прошлого, я могу их изображать лишь в качестве постороннего наблюдателя и рядового обывателя. Сохранившиеся у меня связи в петербургском бюрократическом мире давали мне, однако, возможность по временам проникать за кулисы и быть в курсе обстоятельств, остававшихся неизвестными широкой публике, почему я и полагаю, что имею некоторое право продолжить мои воспоминания за пределы времени моей государственной службы. Не стану, однако, останавливаться на подробной хронике того времени, а ограничусь лишь относительно краткими штрихами.

Вторая Государственная дума, как известно, оказалась еще радикальнее, чем первая, причем в нее проникли в значительном числе воинствующие социалисты, решившие, после опыта Первой Государственной думы, что выборный закон дает им полную возможность успешно орудовать среди народных масс, и посему прекратившие бойкот Государственной думы, который они провозгласили при самом ее учреждении.

Не могу я при этом не упомянуть про странное, чтобы не сказать более, вчинение мне в вину обер-прокурором Сената Кемпе моего стремления понизить цену на хлеб, приобретаемый казной для голодающего населения, что привело к тому, что цена на зерно вообще понизилась на рынке. Действительно, сделка с Лидвалем, равно как все остальные заключенные мною сделки, благополучно исполненные, были заключены по цене ниже биржевых. Вменение в вину представителю государственной власти, обязанному беречь интересы казны, его старания заключать торговые сделки на выгодных для казны условиях, равно как признание, что понижение цен на зерно на рынке в голодный год не отвечает интересам населения,

достойны фигурировать в юмористическом журнале. Я должен, однако, сказать, что оно было лишь отражением того неудовольствия, которое я вызвал мерами, направленными к понижению цен на зерно, как в хлеботорговых, так и в землевладельческих кругах, вследствие чего я оказался под перекрестным огнем. Негодовала на меня оппозиция по вышеприведенным причинам. Недовольны были мною и критиковали мои действия и беспринципные хлеботорговцы и определенно правые земледельческие круги. Я не намерен приводить доказательств моей невиновности, но я надеюсь, что на меня не посетуют и признают за мною законное право привести по этому поводу чужое мнение, не лишнее интереса и в данном вопросе авторитетное. Уже во время бытности моей в эмиграции в Париже я познакомился с бывшим московским городским головою Н.И. Гучковым, входившим в состав того присутствия, которое меня судило. Вот сведения, полученные от него:

Париж, 20 июля 1924г.

Глубокоуважаемый Владимир Иосифович.

Узнав, что Вы заняты составлением Ваших воспоминаний, в которых Вы, вероятно, коснетесь громкого в свое время дела по обвинению Вас в превышении власти, я считаю долгом довести до Вашего сведения один факт, касающийся этого дела, который не может Вас не интересовать.

Назначенный в ноябре 1907 г. по Высочайшему повелению в качестве московского городского головы членом Особого присутствия Сената, перед коим Вы должны были предстать в качестве обвиняемого в преступлении по должности, я должен сказать, что был настроен по отношению к Вам, которого до тех пор в глаза не видел, довольно отрицательно. Газетная травля, которой Вы подвергались в течение целого года, не могла не действовать на людей, не знакомых ближайшим образом с делом, по которому Вы обвинялись.

В течение четырех месяцев мужественно выдерживал Столыпин ожесточенный иштурм, направленный Второй Государственной думой на правительственную власть. Деятельность этой Думы была настолько явно революционна, что не могла привлечь к себе симпатий каких-либо культурных буржуазных кругов. Столыпин правильно решил, что наисильнейшим врагом Государственной думы была она сама, что она систематически топила себя в глазах сколько-нибудь государственно настроенных кругов и тем самым подготавливала правительству возможность, не вызывая взрыва негодования, изменить выборный закон и построить народное представительство на таких началах, которые обеспечивали бы культурный, преданный интересам России состав выборных от населения.

С первого же дня судебного следствия все дело предстало для меня, да, смею сказать, и для других членов Особого присутствия, в совершенно другом свете, нежели оно изображалось в печати. Для меня стало ясно, что Вы явились жертвой оппозиционной общественности, всячески старавшейся в ту пору очернить правительство и составлявших его отдельных лиц. По отношению к Вам эта общественность питала, по-видимому, особую злобу и проявляла необыкновенное ожесточение.

По мере хода процесса полученное у меня в его начале впечатление все усиливалось и сложилось, наконец, в определенное убеждение в Вашей полной невиновности.

Такое же мнение сложилось, очевидно, и у других членов присутствия — представителей общественности, а именно у петербургского губернского предводителя гр. Гудовича и волостного старшины одной из волостей Петербургской губернии (фамилии его не помню), так как при постановке приговора мы все трое высказались за Вашу невиновность и, следовательно, оправдание. Иного мнения оказались сенаторы, коих было пять. Невзирая на все наши доводы, они остались непреклонны.

Необыкновенная, по моему мнению, настойчивость сенаторов, а в особенности то обстоятельство, что уже при обсуждении проекта пунктов обвинения сенаторы возражали и отвергли внесенные мною некоторые поправки, облегчавшие возможность оправдательного приговора, навели меня на тяжелую мысль, что они связаны с полученными сверху директивами.

На другой же день после состоявшегося приговора я, смущенный и взволнованный, поехал к председателю Совета министров П.А. Столыпину, которому счел долгом точно изложить мое мнение о полной необоснованности состоявшегося приговора и о том, что для самого привлечения Вас к ответственности у Министерства внутренних дел не было никаких оснований.

По-видимому, хотели, сказал я, бросить Гурко как некую кость для успокоения оппозиционной части общественности и тем привлечь ее симпатии к правительству; но справедливо ли это и отвечает ли истинным интересам государства и олицетворяющей его власти?

П.А. Столыпин на мои слова ничего определенного не ответил.

Примите уверения в глубоком моем уважении.

Н. Гучков

Вторая Государственная дума была распущена 3 июня 1907 г., и одновременно Высочайшим указом была изменена система выборов.

Акт этот был несомненно актом неконституционным и являлся, следовательно, тем, что французы называют *coup d'etata*. Действие это, состоявшееся по инициативе Столыпина, имело, однако, целью не нарушение конституции, а, наоборот, ее сохранение и укрепление. Государственная власть стояла тогда перед дилеммой либо совершенно упразднить народное представительство, либо путем изменения выборного закона получить такое представительство, которое действительно было бы полезным фактором государственной жизни. Конечно, был и третий выход — исполнить требования оппозиционных элементов и перейти к парламентскому строю. Однако, если об этом могла быть речь в бытность Первой Государственной думы, то при второй Думе это уже явилось бы простым безумием. К этому времени, во-первых, выявилось в полной мере все пренебрежение к государственным интересам той партии, которая была преобладающей в Первой Государственной думе и которой, следовательно, приходилось вручить власть. Выявилось это когда конституционно-демократическая партия не остановилась перед опасностью разрушить весь государственный аппарат — к чему привело бы исполнение населением того, к чему она его призывала в Выборгском воззвании, — лишь бы завладеть самим властью. Засим состав Второй Государственной думы явно указывал, что власть сохранилась бы за кадетами при парламентском строе лишь в течение весьма непродолжительного времени и что вслед за ними неизбежно и скоротечно наступила бы власть социалистов различных оттенков, что фактически и произошло в 1917 г.

На этом обстоятельстве играли крайние правые круги и прилагали все усилия убедить верховную власть покончить со всякими конституционными попытками и вернуться к чистому абсолютизму.

Столыпин вполне понимал всю опасность, которую представлял этот шаг. Он понимал, что для укрепления государственной власти нужно привлечь на сторону этой власти хотя бы некоторые культурные общественные круги, а что для этого необходимо не упразднить конституционный образ правления, а, наоборот, его закрепить. Но возможно это было лишь посредством создания такой системы выборов в нижнюю палату, при которой большинство палаты состояло бы из государственно мыслящих элементов. Понимал он и то, что весьма желательно, чтобы в этой же палате были представлены и оппозиционные и даже революционные элементы, дабы страна в лице ее буржуазных элементов могла сама судить о всей антигосударственности высказываемых ими требований и положений.

Соответственно с этим и была построена система выборов по закону 3 июня 1907 г., и надо признать, что намеченной цели она отвечала в полной мере. Государственная дума по счету третья своим составом вполне отвечала тому, что от нее ожидало правительство и что желал в ней видеть Столыпин. Наиболее могущественной группой были там октябристы (числом 170 из общего числа членов в 480), открыто написавшие на своем знамени, что они крепко стоят за участие народного представительства в законодательстве страны, но этим свои конституционные вожеления пока и ограничивают.

Работа Третьей Государственной думы оказалась в результате во всех отношениях в высшей степени плодотворной. Именно эта работа обещала укрепить в России соответствующий уровню образования ее населения конституционный строй.

Правда Третья дума не выявила сколько-нибудь значительного числа выдающихся государственных деятелей, чем в известной степени и оправдалось утверждение бюрократии, что искать вне ее среды выдающихся государственных работников бесполезно, ибо среда эта втянула в себя почти без остатка всю наиболее образованную, наиболее культурную и наиболее пропитанную государственным пониманием часть населения.

Не могла Государственная дума за пятилетний срок своего существования подвести идейный принципиальный фундамент под всю государственную политику, но все же некоторые основные вопросы государственного бытия были ею основательно обсуждены и поставлены те вехи, по которым данная отрасль народной жизни должна была следовать. По одной из важнейших сторон государственной политики Государственная дума была лишена возможности сколько-нибудь определенно высказаться, а именно по политике международной. Эта область почиталась за составляющую какую-то непонятную прерогативу престола, и министр иностранных дел должен был испрашивать каждый раз особое разрешение государя на сообщение Государственной думе тех или иных международных вопросов. Все, что Государственная дума могла в этом отношении, — это приложить все старания к усилению нашей боевой мощи, составляющей, что ни говори, главнейшую опору государства при разрешении вопросов международных.

Вообще, время существования Второй Государственной думы и первый год деятельности Третьей думы были лучшей эпохой деятельности П.А. Столыпина. При Второй Государственной думе он проявил незаурядную силу воли и спокойное хладнокровие. «Дума гниет на корню», — говорил он и, не пугаясь ее страстных выпадов, продолжал твердо вести свою линию, а именно — соблюдение конституционных гарантий при продолжавшемся стремлении завербовать сочувствие государственно мыслящих слоев населения и таким образом укрепить обаяние и, следовательно, силу власти.

Облетевшее всю Россию и превратившееся в крылатое, хотя ничего особенного оно не заключало, слово его, сказанное в Государственной думе по адресу революционеров: «Не запугаете», подкупило всех и увеличило его популярность не столько само по себе, сколько в его искренности. Общественность поняла, что действительно он мужественный человек, которого бомбой «не запугаешь». Метки были и другие слова, сказанные им во Второй Государственной думе и затем воспроизведенные на памятнике после его смерти в Киеве: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

Чрезвычайно удачен был и выбор на должность главноуправляющего землеустройством А.В. Кривошеина, хотя, по-видимому, это было сделано самим Николаем II.

Во всяком случае, Столыпин понял к этому времени значение им же проведенной земельной реформы, установившей свободу выхода из общины, понял и значение хуторского и вообще обособленного хозяйства и всячески помогал Кривошеину в его работе в этой области, в особенности в смысле ассигнования достаточного количества денежных средств на это требующее больших затрат дело. Помогало здесь, разумеется, и природное умение ладить и даже прельщать людей, дружбу и поддержку которых он считал для себя полезной.

Сумел он установить хорошие отношения и с большинством Третьей Государственной думы, чему, с своей стороны, в высшей степени помог лидер первенствовавшей в этой Думе партии октябристов, причем в течение некоторого времени установились вполне нормальные отношения между народным представительством и государственной властью.

Наладились при нем и отношения между Министерством внутренних дел и земствами, хотя главная заслуга в этой области принадлежит не ему, а С.Е. Крыжановскому. Его заботами было устроено в одном из зданий Министерства внутренних дел особое помещение, где прибывающие земцы могли найти все нужные для них справки, где особо для сего назначенные служащие министерства помогали земцам своими указаниями в деле осуществления того или иного земского ходатайства.

Словом, при Столыпине, и в значительной степени благодаря его умелой политике, в стране наступило успокоение, и страна после испытанных ею передрыг ступила твердой ногой на путь развития и обогащения. Последнее возрастало исполинскими шагами. Достаточно сказать, что доход одного человека в среднем составлял в 1900 г. — 98 рублей, а в 1912-м — 130 рублей, т.е. повысился на слишком 30%.

По мере успокоения страны, по мере упрочнения и своего личного положения менялся и Столыпин. Власть ударила ему в голову, а окружавшие

его льстецы сделали остальное. Он, столь скромный по приезде из Саратова, столь ясно отдававший себе отчет, что он не подготовлен ко многим вопросам широкого государственного управления, столь охотно выслушивавший возражения, возомнил о себе как о выдающейся исторической личности. Какие-то подхалимы из Министерства внутренних дел принялись ему говорить, что он, Петр Столыпин, второй Великий Петр-преобразователь, и он если не присоединялся сам к этой оценке его личности, то и не возмущался этим. К возражениям своим словам, своим решениям он стал относиться с нетерпимостью и высокомерием. Разошелся он наконец и с октябристской партией, найдя ее недостаточно послушной. Между тем огромное достоинство и все значение октябристской партии состояло именно в том, что она, сознавая необходимость укрепить власть в России и готовая в этом отношении помочь правительству, руководствовалась при рассмотрении вопросов, касающихся страны, пользой страны, как она ее понимала, и смело выступала против правительства, если с его образом мысли не сходилась. Не останавливалась она перед раскрытием злоупотреблений и незаконных действий администрации и вообще агентов власти.

Столыпину в 1910 г. это было уже неприемлемо. Ему нужны были клеветы, и он перешел к поддержке партии националистов" и на нее стал опираться, партии если не по программе и даже по возглавлявшим ее лидерам (там были чистые люди: Балашов, гр. В. Бобринский), то [по] многим входившим в состав ее членам готовой идти по любому пути, указанному правительством.

Вошел он в острое столкновение с партией правых. При всех ее недостатках, партия эта не была правительственной, она считала себя государственной партией, и все, что так или иначе, по ее мнению, умаляло царскую власть, вызывало с ее стороны острый отпор. Само собою разумеется, что к этой партии примкнули личные враги Столыпина консервативного образа мыслей; выставляя напоказ свою преданность престолу, играя на этой слабой струнке Николая II, они пользовались всяким случаем, чтобы очернить Столыпина в глазах монарха. Образчиком такого способа действий был случай с утверждением штатов Главного морского штаба.

Штаты эти были утверждены Государственной думой и поступили в Государственный совет, где по их поводу был поднят вопрос о нарушении председателем Совета министров прав монарха, так как-де штаты военных учреждений не подлежат рассмотрению законодательных учреждений, а подлежат утверждению непосредственной властью монарха после их рассмотрения Военным советом. Государственный совет отклонил на этом основании утверждение представленных ему штатов. Столыпин тотчас подал прошение об увольнении от должности, но, однако, удовлетворился тем, что оно не было принято Николаем II; по существу же уступил. Штаты были

утверждены Высочайшею властью, хотя соответствие такого решения вопроса Основным законам было более чем сомнительно.

Впрочем, в этом вопросе обнаружилась явная интрига группы членов Государственного совета, во главе которой были П.Н. Дурново и В.Ф. Трепов. Вообще, Дурново, состоявший во главе правой группы членов Государственного совета и пользовавшийся в ее среде большим влиянием, увы, руководствовался преимущественно личными соображениями и чувством личной неприязни к Столыпину.

Сказалось это весьма ярко и при рассмотрении Государственным советом представленного правительством и прошедшего через Государственную думу законопроекта о введении земства в девяти западных губерниях. Играя на ультранациональных струнах, правое крыло Государственного совета приложило все усилия к отклонению этого проекта. Столыпин был этим положительно взбешен. Заявив государю, что при той систематической обструкции, которую он встречает в своей деятельности со стороны Государственного совета, он плодотворно работать не в состоянии, он вновь подал прошение об увольнении от должности. В течение нескольких дней положение оставалось неопределенным, причем правый фланг Государственного совета, и в частности Дурново, уже праздновал победу над врагом — Столыпиным. Но престиж Столыпина в глазах разумной части общественности был в то время настолько велик, причем сам государь настолько ценил Столыпина, что расстаться с ним не пожелал. Однако Столыпин твердо стоял на своем, причем соглашался остаться на посту председателя Совета министров лишь при условии, что будут исполнены три его пожелания, а именно: первое — принудительное увольнение в бессрочный отпуск членов Совета Дурново и Трепова, второе — назначение впредь новых членов Государственного совета от короны с его ведома и согласия и третье — роспуск Государственной думы на несколько дней с тем, чтобы в течение этого времени утвердить положение о западном земстве Высочайшей властью на основании статьи 87 Основных законов. Статья эта давала право Верховной власти издавать высочайшими указами в период междудумья законы по не допускающим промедления важным вопросам, причем указы эти должны быть в течение определенного срока внесены в законодательные учреждения, от одобрения которых и зависело их превращение в коренной закон.

Когда Столыпин в аудиенции у государя ставил эти свои условия, он между прочим сделал следующее, не лишнее интереса заявление: «Ваше Величество, — сказал он, — если вы одобряете в общем мою политику, направленную к постепенному, все более широкому приобщению общественности к государственному управлению, то благоволите исполнить мои пожелания, без чего я работать в избранном направлении не могу. Но, быть может, Ваше Величество находите, что мы зашли слишком далеко, что

надо сделать решительный шаг назад. В таком случае увольте меня и возьмите на мое место П.Н. Дурново. Наконец, существует и третья политическая линия, по моему мнению наименее целесообразная, а именно не идти назад, но и [не] продвигаться вперед, а стоять на месте. Я могу, конечно, ошибаться и, если вы изволите находить, что именно этой политики надлежит придерживаться, то возьмите на мое место Коковцова».

Государь, как известно, согласился на условия Столыпина: Дурново и Трепов были уволены в бессрочный отпуск, законодательные палаты распущены на три дня, и положение о западном земстве утверждено непосредственно верховной властью.

Не подлежит сомнению, что из трех требований Столыпина одно — второе — было вполне разумное. Остальные же два являлись неприкрытым проявлением неограниченного произвола.

Столыпин победу одержал, но победа эта была пиррова. Государь не мог ему простить совершенного над ним насилия, и в душе он уже с весны 1911 г. решил со Столыпиным расстаться. Убийство Столыпина или, вернее, вызванная этим необходимость назначить на пост председателя Совета министров новое лицо не застала государя врасплох — он еще до выезда из Киева, перед самым своим отъездом, пригласил к себе Коковцова и не только предложил ему этот пост, но тут же ему указал, что он имеет кандидата на открывшуюся должность министра внутренних дел.

Глава 2. Министерство Коковцова и Четвертая Государственная дума

По мере того как страна после испытанной ею встряски в 1905—1906 гг. успокоивалась, по мере того как в соответствии с этим исчезали и те опасения, которые породило революционное движение пережитых лет, власти все больше и все быстрее возвращались к прежним старым способам управления. Отразилось это прежде всего на порядке назначения главных начальников отдельных ведомств. Дело в том, что Николай II был мало склонен к установленному после 17 октября 1905 г. принципу вручения полноты исполнительной власти одному лицу — председателю Совета министров, от которого зависело бы привлечение тех или иных лиц в состав образуемого им кабинета, причем выбор военного и морского министра, не считая министра двора (что было вполне естественно), с места сохранил за собою. Все же первый объединенный кабинет состоял из лиц, избранных его председателем Витте. При образовании второго кабинета, состав которого был установлен по соглашению государя с назначенным им председателем Совета Горемыкиным, личный выбор государем отдельных его членов сказался уже в большей степени. Третий председатель Совета министров

Столыпин сумел за все время своего нахождения во главе правительства пополнить состав возглавляемого им правительства лицами по своему избранию, но достигал он этого все с большим трудом, и одна из главных причин, по которой Николай II решил с ним расстаться уже за несколько месяцев до его трагической кончины, заключалась именно в том, что, по мнению государя, Столыпин узурпировал власть монарха, проводя в министры своих избранников.

С кончиной Столыпина этот порядок подвергся коренному изменению. Произошло это, между прочим, вследствие того, что заменивший Столыпина В.Н. Коковцов стал во главе правительства в такой момент, когда по внешности изменение состава правительства ничем не обуславливалось. Таким образом, Коковцов с места стал во главе коллегии, в которой далеко не все в нее входящие были его политическими единомышленниками и тем более склонными подчиняться его руководящим указаниям.

Однако по самому началу, а именно в момент назначения председателем Совета, Коковцову удалось устранить назначение на открывшуюся со смертью Столыпина вакансию министра внутренних дел предложенного ему Николаем II нижегородского губернатора А.Н. Хвостова, а провести несколько времени спустя на эту должность А.А. Макарова. Создать, однако, действительно объединенный кабинет, следующий его руководящим указаниям, ему никогда не удалось, а все последующие изменения в составе его кабинета произошли если не вопреки его желаниям, то, во всяком случае, и не согласно с ними. Единственная мне известная попытка Коковцова ввести в состав возглавляемого им кабинета своего кандидата взамен лица, признававшегося им совершенно неподходящим, окончилась полной неудачей. Я имею в виду увольнение военного министра Сухомлинова и предполагаемое назначение на его место А.А. Поливанова. Произошло это осенью 1911 г. Государь был в эту пору в Ливадии, где Коковцов и доложил ему о желательности замены Сухомлинова другим лицом. Причины для этого у Коковцова были самые веские. Так, ему стало известно, что в ближайшем окружении Сухомлинова находились лица (Альт-шулер), работавшие в австрийской шпионской организации. Что именно доложил Коковцов государю, я, конечно, не знаю, но, судя по тому, что передавалось по этому поводу в Петербурге, государь первоначально согласился на предложение Коковцова. Прослышав про грозившую ему опасность, следом за Коковцовым помчался в Ливадию Сухомлинов, и там ему удалось не только укрепить свое положение, но еще добиться и увольнения от занимаемой им должности помощника военного министра, кандидата на его должность Поливанова. При этом произошла даже довольно пикантная сцена. Возвращавшегося из Ливадии Сухомлинова встречали на вокзале его ближайшие сотрудники, в том числе и Поливанов. Подойдя к встречавшим его лицам, и в первую очередь, как к старшему, [к] Поливанову, Сухомлинов,

не подавая ему руки, резко сказал: «По Высочайшему повелению вы больше не помощник военного министра».

Но Сухомлинов был не единственным членом кабинета Коковцова, находившимся с ним в определенной оппозиции. В том же положении был и А.В. Кривошеин, отношения с которым у Коковцова были натянутые еще во времена их совместного состояния в составе министерства Столыпина. Здесь разногласие было, разумеется, совершенно иного свойства; в основе его были настойчивые ежегодные требования Кривошеиным от Коковцова, как от министра финансов, отпуска все больших средств на нужды землеустройства и сельского хозяйства. Опираясь в этом вопросе не только на Столыпина, но и на государя и даже на Государственную думу, Кривошеин неизменно добивался ассигнования почти всех требуемых кредитов, но добивался он этого не без труда, откуда и происходило их взаимное нерасположение.

В своем месте я уже набросал краткую характеристику Кривошеина, каким он был в начале своей служебной карьеры. Достигнув предела своих желаний, а именно назначения главою обширного самостоятельного ведомства, Кривошеин, можно сказать, в корне преобразился. Куда девалась его скромность, упорное скрывание своих политических взглядов и готовность беспрекословно исполнять указания начальства. Правда, для достижения поставленных им себе целей он продолжал прибегать к изобретенному им ранее приему, а именно к составлению и поддержанию самых разнообразных личных связей, но использовал он эти связи не для достижения личных целей, а для всемерного развития порученного ему дела. Делу этому — крестьянскому землеустройству и подъему уровня сельского хозяйства — он искренно предался, и вел он его с жаром и увлечением. Ставил он при этом преследуемые им задачи прямо и определенно, а в порядке их осуществления обнаружил широкий размах выдающегося государственного деятеля.

Обнаружил при этом Кривошеин и свойства крупного администратора и организатора. Выразилось это прежде всего в умелом подборе дельных и талантливых сотрудников и предоставлении им надлежащей свободы действий. Совершенно правильно ограничил он при этом свою роль по отношению к ним общими принципиальными указаниями. Умение отличать существенное от второстепенного, замысла от технического его исполнения было в высшей степени присуще Кривошеину. Не входя в мелкие подробности, предоставляя это всецело своим сотрудникам, он, однако, умел сохранить за собою и инициативу, и главные директивы. Строгий, требовательный, он умел придать своим подчиненным энергию в исполнении ими их работы, вдохнув в них увлечение преследуемыми ими задачами. Не останавливаясь перед резкими выражениями и даже крутыми мерами по отношению к лицам, не отвечающим предъявляемым им требованиям, он

одновременно не скупился в похвалах и поощрении тех работников, которые умело и толково исполняли свои обязанности.

Совершенно отсутствовавшее у Плеве умение ладить с людьми и привлечь к себе их симпатии Кривошеину было в высшей степени присуще. Оставаясь у себя в ведомстве властным начальником, вне его он превращался в тонкого дипломата. Как я уже упомянул, самая трудная его задача состояла в получении необходимых весьма крупных сумм как для работ по землеустройству крестьян, так и для мероприятий, направленных к подъему техники русского сельского хозяйства. Между тем Коковцов, как известно, заботился прежде всего о сведении бездефицитных государственных бюджетов и о накоплении так называемой свободной наличности Государственного казначейства. Добыть от него при таких условиях те десятки миллионов рублей, которые при Кривошеине государство расходовало на две указанные выше цели, было нелегко и, во всяком случае, связано с постоянными трениями и пререканиями с главою правительства. Если бы Кривошеин заботился исключительно о собственных интересах и не был одушевлен стремлением принести действительную и большую пользу стране, он, конечно, не стал бы ежегодно домогаться все больших и больших ассигнований на развитие порученной ему ведению отрасли народного труда. Упрекали Кривошеина, между прочим, в том, что он не упускал случая рекламировать свою деятельность, причем связано это было в некоторых случаях с значительной тратой казенных средств. Так, при нем было издано чрезвычайно роскошно иллюстрированное описание хода работ по землеустройству крестьян и еще более роскошное описание азиатской России и всех заключающихся в ней неисчислимых богатств. Весьма интересно также иллюстрированное описание вырабатываемых в наших среднеазиатских владениях, преимущественно в Туркестане, восточных ковров. Однако все эти издания, если до известной степени [и] рекламировали деятельность самого Кривошеина, [то] рекламировали еще в большей степени Россию, тот огромный сдвиг, который происходил во всем ее земельном строе, рекламировали те неисчислимые, но еще втуне лежащие естественные богатства азиатской России, которые еще ждали разработки и использования; популяризировал он и те художественные сокровища, которые раскрывало изучение произведений вошедших в состав империи среднеазиатских народностей.

Люди — рабы этикеток. В зависимости от того ярлыка, который наклеивается на то или другое действие, оно представляется им то достойным похвалы, то заслуживающим порицания. Так, достаточно назвать стремление Кривошеина представить деятельность управляемого им министерства в наиболее выгодном свете и широко осведомить о ней общественность рекламой, и оно приобретает характер личный и малопривлекательный. Назовите, однако, те же его действия широким осведомлением общества о проводимых государством крупных

мероприятиях и готовностью подвергнуть их широкой критике, и они принимают характер правильной государственной политики, имеющей в виду облегчить дальнейшую работу в атмосфере всеобщего одобрения и моральной поддержки. Стремление приписать действиям, по существу правильным и полезным, личные низменные мотивы, увы, было неизменно присуще русской общественности, и одним из его последствий явилось огульное осуждение деятельности правительства. Так, если правительство работало втихомолку, говорили, что оно скрывает от общества все свои начинания и действия, опасаясь его критики, когда же оно широко освещало общественность о своей деятельности и о достигнутых им результатах, называли это саморекламиранием. Что же хотели, чтобы правительство занималось самокритикой и представляло собственные действия в неблагоприятном свете?

По существу же важны не те мотивы, которые руководили Кривошеиным, а перед тем Витте, когда они стремились осведомить общество о проводимых ими реформах и получаемых от них результатах, а степень правильности такого их образа действий для достижения преследуемых ими государственных целей. Но в этом отношении сомнения быть не может: оба они избрали верный путь.

Кривошеин вполне понимал, что в условиях современности достигнуть серьезных результатов в любой области без обеспечения предпринимаемым мерам сочувствия широких общественных кругов нет возможности. В этих видах он стремился установить наилучшие отношения с членами Государственной думы по возможности всех партий, с тою же целью искал он популярности среди земских кругов, в том числе и среди так называемого третьего элемента. И результаты были налицо. Государственная дума неизменно поддерживала все его представления и требования денежных ассигнований, а в 1913 г. я был свидетелем, как земские агрономы, приглашенные к участию в собранном при Главном управлении землеустройства агрономическом совещании, устами одного из них обратились к председателю совещания, товарищу Кривошеина гр. П.Н. Игнатьеву, с горячей речью, в которой выражали благодарность за предоставленную им возможность широко и свободно высказать все свои мнения и стремления. Кривошеин при этом был последователен: он не только внушал всем своим сотрудникам необходимость благожелательного отношения к общественным элементам и широкой терпимости к высказываемым ими мнениям и даже критике, но даже при выборе сотрудников искал людей, способных по присущим им свойствам привлекать общественные симпатии и смягчать неизбежно по временам возникающие трения. Кривошеин при этом, разумеется, не мог не сознавать, что некоторые делаемые им при этом уступки требованиям общественности по существу были в государственном отношении едва ли вполне правильны, например, широкое ассигнование земствам весьма значительных средств на

разнообразные агрономические предприятия без уверенности, что средства эти будут повсеместно употреблены с пользою. Но он понимал при этом *qu'il faut faire la part du feu*, что без некоторых, по существу неважных отступлений от безусловно правильного образа действий осуществить решительно ничего нельзя.

Да, достигнув власти, Кривошеин пользовался теми же методами, которые привели его к власти, но с той весьма существенной разницей, что пользовался он ими не только ради сохранения власти, но преимущественно в целях использования их для блага государства. Если бы его желания ограничились одним сохранением министерского портфеля, ему было бы гораздо проще и спокойнее не возбуждать новых вопросов, не проявлять широкой лихорадочной деятельности, вызывающей, как всякая деятельность, наряду с похвалой и одобрением ожесточенную критику и создающей многочисленных противников. Если на министерском посту Кривошеин обнаружил свойства государственного деятеля широкого размаха, смелых начинаний и тонкого политического инстинкта, то не впал он и в ошибку Витте, а именно в одностороннее поддержание лишь той отрасли народного производства, которой он сам ведал. Посодействовали этому, впрочем, и те личные связи, которые он по жениному родству имел в московских торгово-промышленных кругах.

Существовала, однако, и другая причина, вследствие которой Кривошеин не замкнулся в круг вопросов, ему лично подведомственных. Действительно, по мере приобретения им влияния у государя и в определенных общественных кругах — землевладельческих и промышленных — он, несомненно, возымел желание стать во главе правительства, т.е. превратиться в председателя Совета министров. Верный своему принципу продвигаться путем создания соответственных связей, он уже в ту пору, когда влияние государыни еще совершенно не ощущалось, приложил все усилия, чтобы приблизиться к ней, и достиг он этого в полной мере, невзирая на имевшееся для него в этом отношении большое препятствие, а именно полное незнакомство с иностранными языками. Между тем хотя государыня и говорила на русском языке, но вести [по-русски] беседу на разнообразные темы широкого масштаба ей было не совсем легко. Во всяком случае, ей было легче выразить свою мысль во всех ее изгибах и подробностях на каком-либо западноевропейском языке. Нашел Кривошеин и способ завязать с Александрой Феодоровной постоянные деловые отношения. С этой целью он измыслил образовать специальный комитет для поощрения и развития крестьянского кустарного производства, причем председательствование в этом комитете он предложил императрице. Однако этим отнюдь не ограничивались беседы, которые он вел с государыней. Наоборот, в них он касался самых разнообразных государственных вопросов и, несомненно, сумел пленить ее ум и сердце.

Понятно, что при таких условиях влияние Кривошеина начало проявляться в самых разнообразных направлениях, между прочим и в деле выбора министров.

Так, например, гр. П.Н. Игнатъев, сменивший в должности министра народного просвещения Кассо, состоявший до того времени товарищем Кривошеина по Главному управлению землеустройства и земледелия, был проведен на эту должность Кривошеиным.

Словом, весьма скоро после возглавления правительства Коковцовым наиболее влиятельным лицом в министерской коллегии оказался А. В. Кривошеин, а в дело смены министров и назначение новых Коковцов и не решался вторгаться. Да, на посту председателя Совета министров Коковцов оставался почти исключительно министром финансов. В этой области его влияние, несомненно, возросло, но из ее пределов почти не выходило.

Но, увы, влияние это было отрицательное, скажу прямо, мертвящее, и если бы не Государственная дума, с которой ему приходилось считаться, то хозяйственное развитие страны, поскольку оно зависит от финансовой и экономической политики государства, совершенно бы затормозилось, как затормозилось бы и развитие наших вооруженных сухопутных и морских сил.

Из положения безусловного охранителя интересов Государственного казначейства Коковцов никогда не выходил. Систематично накапливал он золото в казенных сундуках, и, складывая его туда, казалось, что прямо слышишь, как он говорит собранным червонцам:

Ступайте, полно вам по свету рыскать,

Служа страстям и нуждам человека.

Усните здесь сном силы и покоя.

Как боги спят в глубоких небесах..."

Действительно, насколько основные принципы Коковцова соответствовали положению русских финансов в момент возвращения его на должность министра финансов в 1906 г. в кабинете Горемыкина, настолько они противоречили народным интересам начиная приблизительно с 1908 г.

Насколько бережливое, скажем даже скупое, расходование государственных средств и сокращение всех видов кредита вполне уместно и правильно в период экономических депрессий и даже в переживаемый Государственным казначейством период денежных затруднений (что, впрочем, обыкновенно друг с другом совпадает), иначе говоря, когда производство ценностей

перерастает требования рынка, настолько, наоборот, они в корне неправильны в период мощного роста всей совокупности производительных сил страны, а не какой-либо отдельной отрасли производства. Между тем Россия в семилетие с 1907 г. по 1914 г. была именно в периоде исключительного хозяйственного подъема, что, несомненно, происходило вследствие того, что под осуществившуюся к тому времени значительную производственную силу промышленности подводилась и быстро создавалась могущественная потребительская база путем увеличения роста народного благосостояния. Происходил же этот рост вследствие быстрого перехода крестьян к иным формам землеустройства, связанным с иными способами использования производительных сил почвы.

В такой период скупое расходование государственных средств, выражавшееся реально в остановке осуществления многих общепольных начинаний, как то: незначительное проведение новых железнодорожных линий, недостаточное снабжение железнодорожного хозяйства подвижным материалом (за что мы, между прочим, жестоко поплатились с самого начала возникновения войны), сооружение элеваторов, устройство приморских портов, отказ в средствах для интенсивного использования наших огромных, втуне лежащих государственных лесов и, наконец, недостаточное снабжение средствами денежного обращения, происходящего как от недостаточного выпуска в обращение денежных знаков, так, в особенности, от сокращения многих видов кредита, — было крупной, весьма крупной ошибкой.

У Коковцова ошибка эта, думается мне, обуславливалась его природным пессимизмом и, вероятно, отсюда происходящим отсутствием у него смелости и размаха. Пессимизм его приводил к тому, что никакому риску он не верил и всякое дело почитал за недостаточно обеспеченное и даже едва ли не обреченное на гибель.

Наши банковские деятели, перекинутые после революции в Западную Европу, с удивлением отмечали, что всякие, казалось бы самые верные, предприятия и комбинации в Западной Европе в ближайшие годы после войны давали в конечном счете не прибыль, а убыток, словом, не оправдывались. Говорили они при этом, что в России приходилось за последнее до войны десятилетие идти на комбинации, где доля успеха при предварительном учете не превышала и 10%, и все же все они или почти все давали барыши. Между тем, работая в Париже и Лондоне после войны, они же, те же люди, брались лишь за дела обеспеченные, сулившие 80 и 90% удачи, и тем не менее преобладающее большинство их проваливалось и ликвидировалось убытком.

Между тем люди были те же, а умение их разобраться в деловых вопросах лишь расширилось. Дело, значит, не в них и не в степени их умения разобраться в различных коммерческих и банковских конъюнктурах, а в чем-

то другом. Это же другое — не что иное, как общая тенденция данного времени.

Россия после революции 1905 г. и до мировой войны была в периоде не только увеличения производства, но и в периоде роста среднего достатка у массы, т.е. увеличения силы потребления. Наоборот, на западе Европы после войны резко сказался упадок благосостояния масс, а тем самым и сокращение потребления.

Коковцов, очевидно, не учитывал всего этого и не сознавал, что судьба его поставила в такой момент во главе русских финансов, когда любой налог переносился населением с легкостью, когда поступления от него превышали самые оптимистические первоначальные предположения, когда самые широкие затраты государственных средств на производительные расходы давали блестящие результаты и сторицей окупали затраченные на них суммы.

В такой момент нахождение у казенного сундука лица, признававшего за главную задачу его вящее наполнение и, по-видимому, не постигавшего, что при богатом народном кошельке государственный сундук может обходиться без значительных запасных фондов, было определенным, на мой взгляд, несчастьем.

Накопление свободных средств Государственного казначейства, иначе говоря, извлечение из народного обращения лишних для текущих государственных расходов национальных средств, было в ту пору не что иное, как кастрирование народной энергии. О самой этой энергии, о ее напряженности можно судить по тому, что, невзирая на это искусственное уменьшение могущих быть в его распоряжении орудий производства, народное хозяйство проявляло такую жизненность и столь буйно оплодотворяло все, к чему прикасалось, что народное богатство увеличивалось из года в год. Спрашивается, что бы было при ином направлении нашей финансовой политики?

Я считаю себя вправе указать на эту отрицательную сторону в деятельности лица, стоявшего в столь важное время во главе как наших финансов, так и всего правительства, так как дошел до этого убеждения отнюдь не только *post facto*. В подробном разборе нашей государственной сметы на 1914 год, с трибуны Государственного совета, равно как в экономическом исследовании, опубликованном мною еще в 1908 г. (под заглавием «Наше государственное и народное хозяйство»), я развивал решительно те же положения.

Между тем главная цель этого накопления — укрепление нашей денежной валюты — не была достигнута. Действительно, тотчас после начала мировой войны выяснилось для всех и каждого, что чрезмерное для текущих надобностей накопление средств в Государственном казначействе отнюдь не

обеспечивает денежной единицы государства от значительного падения при наступлении чрезвычайных обстоятельств. Так, невзирая на наличность у нас в момент объявления войны самого большого количества золота, которое когда-либо до тех пор было собрано в руках одного государства, курс на наш рубль с места понизился по сравнению с курсом на денежные знаки других воюющих государств, хотя золотом они были обеспечены в значительно меньшей доле, нежели наши ассигнации.

Разумеется, была для этого и другая причина, а именно огромный дефицит по нашему международному расчетному балансу, вследствие, с одной стороны, почти полного прекращения нашего экспорта, а с другой, вследствие производства исполинских заказов различного боевого материала на заграничных, как союзных, так и нейтральных, рынках. Это обстоятельство не ослабляет, однако, моего основного положения: извлечение из народного оборота средств, не потребных для текущих государственных расходов и не затрачиваемых на повышение уровня народного хозяйства, а складываемых в подвалах Государственного банка, кроме отрицательных результатов каких-либо иных дать не может. Я не хочу входить в подробности этого весьма сложного вопроса, к тому же ныне совершенно праздного, тем более что опасаясь увлечься этой любимой моей темой, а между тем мои очерки и без того разрослись далеко за первоначально предположенные мною пределы. Не могу, однако, в заключение не указать, что в конечном результате накопление золота в подвалах русского Государственного банка практически привело к тому, что большевики получили возможность продлить свою безумную попытку прекратить всю индивидуальную народнохозяйственную деятельность страны и жить за счет работы бюрократического аппарата путем расходования на государственные потребности перешедшего в их распоряжение (вернее, на их расхищение) накопленного в предыдущий период золотого фонда.

Избрание Коковцовым на пост министра внутренних дел А.А. Макарова тоже нельзя признать удачным. А.А. Макаров был типичный судебный деятель, привыкший, как большинство из них, разбираться в уже произошедшем и совершенно не обладающий способностью предусматривать то, что имеет произойти. Между тем давно сказано, что *administrer c'est prévoir*. К тому же привычка иметь дело с людьми, состоящими либо под следствием, либо под судом, приводит к какому-то особому, специфическому отношению и к роду людскому, и к образуемым им учреждениям, сказывается прежде всего в каком-то формальном, неизменно закрепляемом протоколами и иными письменными документами отношении.

Именно так относился Макаров и к подчиненной ему обширной губернской администрации, и к общественным учреждениям, и государь метко определил его сущность, назвав его нотариусом. Вместо живого, непринужденного и знакомого с психологией земских людей обращения

Столыпина Макаров с места проявил какое-то мертвенное, если не враждебное, то, во всяком случае, безразличное, к ним отношение. В результате порвалась та живая связь, которая установилась при Столыпине между земцами и Министерством внутренних дел. Внешним и конкретным образом проявилось оно, между прочим, в упразднении образованного в Петербурге при Министерстве внутренних дел особого земского бюро, где приезжие земцы могли получать необходимые им справки по всем интересующим их делам и где им давались указания и советы и оказывалось содействие для проведения тех дел и вопросов, разрешение которых зависело от других ведомств. В этом бюро приезжие различных губерний земцы встречались друг с другом, обменивались сведениями и советами и, благодаря этому, вскоре начали смотреть на помещение этого бюро как бы на собственную штаб-квартиру, что, естественно, сближало их с правительственными органами и устанавливало добрые отношения между ними и в течение предыдущего периода ненавистным им Министерством внутренних дел²⁷. Свою душевную черствость и одновременно отсутствие государственного такта Макаров обнаружил в особенности в речи, произнесенной им в Государственной думе 11 апреля 1912 г. в ответ на запрос Думы по поводу произведенного перед тем на приисках Ленской золотопромышленной компании расстрела бастовавшей толпы рабочих. Количество жертв превышало сто человек, причем, по полученным в Государственной думе сведениям, стрельба войск по толпе рабочих не была вызвана какими-либо агрессивными действиями рабочих. Событие это вызвало, разумеется, чрезвычайный шум и было, конечно, использовано всей оппозиционной прессой. Макаров, не произведя предварительно никакого следствия по этому делу и всецело полагаясь на действия того жандармского офицера (некоего ротмистра Трещенкова), по распоряжению которого войска стреляли в толпу, твердо заявил с трибуны Государственной думы, что распоряжения власти были вполне правильны и обусловлены тем, что многотысячная рабочая толпа сама набросилась на войска. Тут же была сказана им и та фраза, которая потом столь часто повторялась как революционерами, так и оппозиционными силами, а именно: «Так было, так будет впредь». Вместо того чтобы сказать Государственной думе, что Министерство внутренних дел за чрезвычайной дальностью как от столицы, так и от всякого мало-мальски крупного административного центра того места, где произошло это прискорбное событие, не имеет ныне возможности представить Государственной думе нужные объяснения, но что оно немедленно такое расследование произведет и все, что им будет обнаружено, Государственной думе сообщит, Макаров счел нужным с места заявить, что виноваты в этом деле сами рабочие, а жандармские власти совершенно правы. Между тем действительность была иная. Произведенным таки впоследствии специально для этого командированным в Сибирь сенатором Манухиным расследованием было выяснено, во-первых, что экономические условия, в которых находились рабочие на Ленских приисках, были тяжелые, что забастовка их была, следовательно, вполне обоснованна и, наконец, что

характер забастовки был вполне мирный и сколько-нибудь основательных причин для стрельбы войск в рабочую толпу не было. В результате ревизии сенатора Манухина местные начальствующие лица (как то: местный губернатор и иркутский генерал-губернатор Князев), равно как и жандармский офицер Трещенков, были смещены, но в общем дело это было затушено, и на скамью подсудимых никто из виновных посажен не был. Вообще надо сказать, что все отношение правительства к делу о ленских беспорядках было в корне неправильно и, конечно, нанесло ущерб народной вере в справедливость царских решений. Не так бы поступил Александр III.

Само собою разумеется, что при таких условиях никаких сколько-нибудь существенных мер общего значения при Макарове Министерством внутренних дел ни осуществлено, ни даже предпринято не было, а заготовленные еще при Столыпине проекты реформы губернского и вообще местного управления продолжали пребывать в блаженном покое в различных департаментах министерства.

Ближайшим сотрудником в том деле, которое почти единственно интересовало и сосредоточивало в то время заботы и внимание правительства, а именно выборы в новую, Четвертую Государственную думу, Макаров избрал А.Н. Харузина. Человек этот, по природе неглупый и даже в известной степени способный, отличался необыкновенным честолюбием, неразрывно у него связанным с безграничным самодовольством, и был типичным карьеристом. Самодовольством дышала вся его маленькая на тонких ножках фигурка боевого петушка. При этом он отнюдь не был солидным, сильным боевым петухом, а именно маленьким, задорным и крикливым петушком.

Не останавливающийся в карьерных целях ни перед каким нарушением не только духа, но и буквы закона, Харузин проявил необыкновенную изобретательность в деле проведения выборов в законодательные учреждения и, следовательно, с точки зрения избравших его лиц, оправдал в полной мере оказанное ему доверие. В какой степени его деятельность оказалась полезной для государства — другой вопрос, хотя надо сказать, что он был лишь техническим исполнителем преподанных ему заданий.

Продержался Макаров на должности министра внутренних дел сравнительно недолго, как я уже сказал, ничем не отметив своего пребывания во главе внутренней политики государства. Споткнулся он на том же Распутине. Узнав через посредство департамента полиции, что у каких-то частных лиц имеются не то выкраденные у Распутина, не то проданные им несколько писем к нему государыни, Макаров приложил все усилия к их приобретению, что ему, за весьма крупную сумму, и удалось. Получив эти письма, Макаров поспешил передать их государю. С какою целью он это сделал, понять трудно. Письма государыни были, разумеется, самого невинного свойства,

касались здоровья наследника и сводились к испрошению его советов и благословений. Изъять эти письма из частных рук и тем прекратить возможность их превратить в рыночный товар было несомненной обязанностью царского министра. Но этим, казалось бы, и должна была ограничиться его деятельность в этом отношении. Макарову захотелось, по-видимому, на этом еще выслужиться: проявить свою преданность царской семье, а также уметь охранить ее от всяких неприятностей. Формальный ум Макарова, очевидно, не позволял ему постигнуть, что передача писем государю могла быть и ему и государыне лишь весьма неприятной. Велико должно было быть, следовательно, изумление Макарова, когда в ближайшие дни после этого он безо всякого предупреждения был уволен от должности.

Заместителем Макарова явился полтавский губернатор Н.А. Маклаков.

По внешности Маклаков был прямой противоположностью Макарову; круглый, розовый, с веселой улыбкой на лице, он был типичным провинциальным франтом, дамским угодником, забавным рассказчиком и был известен как неподражаемый анекдотист. В сущности, Маклаков напоминал не столько провинциального администратора, сколько известный тип состоящего при таком администраторе чиновника по особым поручениям. Тип этот в провинции был весьма известен, а возлагались на него поручения не столько губернатором, при коем он числился, сколько губернаторшей по самым различным домашним и светским делам. На должности управляющего Тамбовской казенной палатой он сумел прельстить местную меценатку Александру Николаевну Нарышкину*, очень близкую ко двору, что и дало ему место полтавского губернатора, где во время торжеств по поводу двухсотлетия Полтавской битвы с ним познакомился государь, которому он сумел понравиться. Выбор государем Маклакова был, по-видимому, совершенно личным, и Коковцов никакого отношения к нему не имел.

Как бы то ни было, Маклаков, попав на должность министра внутренних дел, очень быстро сообразил, что для того, чтобы удержаться у власти, необходимо сблизиться с крайне правым лагерем и демонстративно высказывать определенно правые убеждения, выражать это в том, что к земству относиться по меньшей мере подозрительно, а с Государственной думой быть лишь в формальных отношениях и отнюдь не входить с ее выдающимися членами в близкие отношения. Опоры же нужно искать в Государственном совете, само собою разумеется, в его правом крыле. Эту линию Маклаков наметил себе почти с места и продолжал ее держать до самого конца, причем, по-видимому, сам себя убедил, что он убежденный сторонник абсолютизма, хотя, по существу, едва ли имел какие-либо сознательно выработанные убеждения. Прибавлю, однако, что арестованный еще при Временном правительстве, а большевиками впоследствии расстрелянный, он держал себя во время нахождения в тюрьме и при

совершенном над ним убийстве с достоинством и проявил благородное мужество.

Управление свое министерством Маклаков начал с немедленного проявления своего глубокого провинциализма. Подобно Столыпину, в должности министра внутренних дел он увидел всероссийского губернатора и счел поэтому нужным ночью объезжать полицейские участки города Петербурга, что было по меньшей мере бесцельно. Со временем он, однако, сообразил, что обязанности министра внутренних дел несколько иные, нежели градоначальника, и подобные экскурсии уже более не предпринимались.

Само собою разумеется, что никакими широкими государственными задачами Маклаков не задавался и никаких существенных проектов в Государственную думу при нем внесено не было, за исключением лишь одного, а именно проекта учреждения мелкой земской единицы, первоначально выработанного еще при Столыпине.

* Рожденная Чичерина, родная тетка большевистского наркоминдела, убитая и, как говорят, предварительно замученная большевиками в Тамбове.

С проектом этим произошел, однако, весьма любопытный казус. Принятый с некоторыми изменениями в Государственной думе, он был с треском провален в Государственном совете в весеннюю сессию 1914 г., т.е. перед самой войной, причем за его провал работал в особенности... сам внесший его в Государственную думу Н.А. Маклаков. Действовал он тут под влиянием или, вернее, под давлением правого крыла Государственного совета. Причина же была простая — против этого проекта, как вообще против всяких проектов, внесенных Министерством внутренних дел, был П.Н. Дурново, не перестававший надеяться вновь занять должность министра внутренних дел на почве откровенно правых консервативных взглядов. Маклаков испугался, что на вопросе о мелкой земской единице правое крыло Государственного совета внушит государю убеждение, что он, Маклаков, недостаточно умело разбирается в вопросах внутреннего управления и что для охраны господствующего строя необходимо вновь ввернуть внутреннюю политику тому лицу, которое сумело в 1908 г. подавить грозивший этому строю взрыв.

Ранее чем перейти к характеристике Четвертой Государственной думы и краткому очерку ее деятельности, необходимо сказать несколько слов о характере выборов ее членов и о произведенном на них давлении правительства. Наблюдение за ходом выборов было поручено товарищу министра внутренних дел А.Н. Харузину, бывшему некогда моим сослуживцем по Государственной канцелярии. Карьерист чистой воды, он, разумеется, из кожи лез, чтобы выборы эти дали определенное большинство лиц, угодных правительству. Я подчеркиваю, именно угодных.

Действительно, отрицать за властью право стремиться к получению такого состава законодательных палат, который был бы оплотом существующего строя и разделял бы в общем правительственную программу, просто смешно. Правительство, верящее в соответствие своей политики интересам государства, не только имеет право, но даже обязано стремиться к этому. При этом надо, однако, делать, думается мне, строгое различие между стремлением заручиться в общем согласным с правительством большинством в законодательной палате и желанием иметь такую палату, где бы не было ни одного независимого в своих убеждениях и в своем образе действий человека, именно в среде, в общем стоящей на стороне существующего политического строя. Между тем одной из отличительных черт власти за все царствование Николая II было стремление превратить всех своих сторонников, а тем более всех своих агентов в «не смеющих свое суждение иметь» пешек. Господа министры этого царствования, отличавшиеся сами большой дозой угодливости и малой волевой энергией, малой решимостью и смелостью отстаивать свои личные убеждения, не могли допустить, чтобы среди их сотрудников, как вообще среди представителей той общественной среды, которая была с ними солидарна, были люди, не желающие ограничить свою деятельность слепым и безличным подчинением всем их взглядам и указаниям.

Эта черта в значительной степени, думается, способствовала тому, что, когда старый строй рухнул, среди правительственного синклита почти не оказалось лиц, которые бы немедленно от него с легким сердцем не отвернулись и даже пустились в его яростную критику. Любопытно, что та нетерпимость к чужому мнению, о которой я говорил выше, вовсе не сопровождалась собственной решительностью и властью с умением внушать свою волю и заставить подчиненный аппарат в точности ее исполнить. Наоборот, именно властью наши правительственные верхи вовсе не отличались, что и отражалось на деятельности аппарата, каждый зубчик которого считал возможным руководствоваться в своей работе собственными взглядами и понятиями. Верховная власть не умела заставить своих ближайших сотрудников быть послушными исполнителями своей воли, так как вообще никаких определенных, сколько-нибудь конкретных политических директив не преподавала и, быть может, именно потому совершенно не переносила открыто высказывающих ей свои собственные мнения, открытого выражения мнений, с нею несогласных. Независимость суждений, которой сильные люди не боятся, ибо уверены, что это не помешает им осуществить свою волю, — вот чего она не терпела. Делай, как хочешь, но не смей меня критиковать, не смей мне говорить, что мой образ действий, по их мнению, неправилен, — вот к чему на практике это сводилось. Воспитав в своих сотрудниках слепое повиновение своим распоряжениям и всемерно подавляя всякую у них независимость, правительство при первом признаке своей непрочности не нашло какой-либо опоры в имевшихся у него многочисленных подчиненных.

В соответствии с этим правительство при выборах в Государственную думу не ограничилось поддержкой тех или иных партий, а еще всматривалось в выставляемых ими или поддерживаемых ими отдельных кандидатов и тех из них, из уст которых оно опасалось, что может при случае услышать критику своей деятельности, старательно устраняло. Нужна правительству была не государственно мыслящая, преданная существующему строю независимая палата, а послушная толпа клеветов. До того, чтобы смотреть на Государственную думу как на активный фактор народной жизни, правительство еще не доросло и впадало в старую, столь соблазнительную систему авторитетных правительств — создать из народного представительства не отражение народной мысли или хотя бы мысли определенных слоев населения страны, а послушное орудие для осуществления собственных мыслей и предположений. Уроки истории, как всегда, оказались бесплодными. Было основательно забыто, что всего менее надежной опорой власти в переживаемые ею критические моменты являются именно народные собрания, состоящие из сикофантов. Между тем, казалось бы, достаточно было бы вспомнить французскую палату депутатов при Карле X, прозванную за свое необыкновенное послушание *la chambre introuvable*, с легкостью провозгласившую, после трехдневной уличной революции, низложение Карла X, равно как такую же палату, низложившую в 1870 г. Наполеона III, перед которым незадолго перед этим пресмыкалась.

В Петербурге был старательно рассмотрен список членов Третьей Государственной думы, и тех из них, которые проявили наибольшую энергию и вместе с тем осмеливались порой высказывать свое неодобрение тем или иным принимаемым правительством мерам, правительство решило не допустить в Четвертую Государственную думу. Такими лицами оказались октябрист А.И. Гучков, кн. Шаховской, председатель после Гучкова комиссии по обороне, Каменский, поднявший в Третьей Государственной думе столь неприятный для правительства вопрос о сдаче в аренду заключающих в недрах каменноугольные залежи земель Александровской церкви Екатеринославской губернии. В число этих лиц был включен и я, очевидно за то, что осмелился на общедворянском съезде в 1908 г. неодобрительно отозваться об узкоказначейской финансово-экономической политике В.Н. Коковцова. Средства, употребляемые для устранения данных лиц от выборов, были разнообразные. Над одними под разными предлогами назначались судебные следствия, вследствие чего они утрачивали право быть избираемыми, другим [мешали) путем давления на выборщиков, либо, наконец, путем искусственного объединения либо расчленения при уездных выборах отдельных курий. Особенно играли при этом курией духовенства, которая по закону могла либо действовать, либо не действовать.

Любопытный и, быть может, наиболее яркий образчик описанного стремления нашего правительства создать из Государственной думы всецело

ей послушное орудие достижения собственных намерений представляли именно выборы 1912 г. в Твери.

Наладившееся в губернском земском собрании дружное сотрудничество его левого и правого крыльев не отразилось, да и не могло отразиться, на смягчении их взаимной борьбы на чисто политической почве. В Тверской губернии борьба происходила между двумя партиями — кадетами, с одной стороны, включавшими, как повсюду, левое земское крыло и представителей свободных профессий, и правыми октябристами, хотя собственно октябристской партии, как организации, в Тверской губернии не существовало.

Это правое крыло включало крайних правых, слишком слабых, чтобы выступить самостоятельно, и умеренно-правых и собственно октябристов. Словом, в этой, если можно так сказать, октябристской группе были смешаны решительно все оттенки правой общественности, начиная с крайних правых и кончая октябристами. Большое значение в этой группе имело духовенство, поставившее в Третью Государственную думу трех членов из общего числа 8 членов, приходившихся на Тверскую губернию. Естественно, что с этой группой, являющейся в общем весьма послушной указаниям епархиальной власти, и пришлось иметь дело, причем я лично состоял в постоянных сношениях с Антонием — архиепископом Тверским, весьма тихим и благочестивым пастырем.

Для моих личных выборов самой трудной стадией мне представлялось избрание в выборщики на тверском уездном избирательном собрании. Трудно оно было потому, что от Тверского уезда полагалось всего лишь два выборщика, из них одного необходимо было предоставить духовенству. Между тем уездное избирательное собрание включало в себя множество выбранных от крестьянских обществ, политические убеждения которых сводились к одному — самим попасть в члены Государственной думы, звание, прельщавшее их тем содержанием (4000 рублей), которое ему было присвоено. Тактика крестьян ввиду этого сводилась лишь к одному — забаллотировать всех кандидатов в выборщики, в том числе часть и принадлежащих к их среде, так как и между собою они могли сговориться лишь с трудом.

Именно в этой стадии выборов мне стало известно, что губернская администрация, вернее, губернатор Н.Г. Бюнтинг делает все от него зависящее, чтобы помешать моим выборам. Обратился с этой целью Бюнтинг и к Тверскому архиепископу Антонию, но так как и с ним отношения у него были весьма натянутые, то, разумеется, ничего не достиг. На уездном собрании, избирающем губернских выборщиков, были выбраны один священник и я. Предстояли выборы губернскими выборщиками уже самих членов Государственной думы. Состав этих выборщиков, общим

числом около шестидесяти, обеспечивал победу правым, само собою разумеется, при помощи голосов духовенства, которых набралось 16 или 12, точно не помню, а также при содействии определенно октябристского крыла, возглавляемого Н.П. Шубинским. После продолжительных переговоров состоялось соглашение: духовенству предоставлялось два места, Шубинскому обеспечивалось избрание по курии землевладельцев*. Они, в свою очередь, принимали весь наш список, остальных 5 членов Государственной думы, в числе коих был и я. Однако еще до наступления самых выборов членов Государственной думы ко мне стали поступать с разных сторон самые определенные сведения, что губернатор делает все возможное, чтобы я не попал в Государственную думу, причем дает определенно понять, что этого не желает правительство и глава его, председатель Совета министров Коковцов.

Хотя мне и было известно, что Коковцов был весьма раздражен моим докладом на общедворянском съезде, но с тех пор прошло уже три года, и мне в голову не приходило, чтобы правительство, и в частности Коковцов, могло бы придавать какое-либо значение моему избранию в Государственную думу, а тем более всемерно этому препятствовать. Желая выяснить это обстоятельство, я поехал в Петербург и прежде всего отправился к министру внутренних дел Макарову, занимавшему одновременно со мною должность товарища министра, но от него я ничего не добился, кроме указания, что выборами особенно интересуется председатель Совета министров Коковцов, от которого будто бы и исходят те или иные указания губернским властям. Для меня стало ясно, что Бюнтинг на этот раз не уклонился от истины, говоря, что меня не желает правительство, а также, что Макарову безразлично, буду ли я выбран или нет, но что от Коковцова соответствующие указания он получил, изменить которые собственно властью не имеет возможности. Направился я вслед за этим к Коковцову, которому я и поставил вопрос прямо: правда ли, что им даны указания губернской власти препятствовать моим выборам в Государственную думу? Весьма любезно меня встретивший Коковцов ответил мне с делающей ему честь искренностью и прямою.

— Да, — сказал он, — я предпочитаю, чтобы вместо вас был выбран любой кадет. Ведь вы же должны понять, что мне будет гораздо труднее отвечать вам, сидящему на правых скамьях Государственной думы, нежели Шингареву (его постоянному оппоненту по государственному бюджету), сидящему налево.

Я поблагодарил его за откровенность, и наша вполне дружественная беседа, продолжавшаяся затем довольно долго, перешла на другие темы.

* В избрании по куриям землевладельцев участвовали все губернские выборщики, но избираемый должен был принадлежать к курии

землевладельцев, владеющих полным земским земельным цензом, а посему выборщикам из крестьян и из духовенства не было никакого смысла их забаллотировать, ибо сами они по этой курии избраны быть не могли, вследствие чего обе эти группы охотно соглашались на любого выставляемого большинством выборщиков из землевладельцев кандидата.

Коковцов, между прочим, мне рассказал, что занимавшего в то время общественное внимание Распутина он на днях, по желанию государя, вызывал к себе, причем на вопрос государя, как он ему понравился, ответил: «На меня, Ваше Величество, подобные личности никакого впечатления не производят». Словом, мы беседовали как два лица, принадлежащие к одному политическому лагерю, скажу даже, как два бюрократа.

По всей вероятности, Коковцов изменил бы свое отношение к моим выборам, если бы я обещал воздержаться в Государственной думе от критики его финансово-экономической политики, однако такого условия он мне, разумеется, не предложил, я же, конечно, признавал совершенно недопустимым связать себя какими-либо обещаниями. В свою очередь, Коковцов мог прийти к заключению, что, попавши в Государственную думу, я именно на него направлю все свои стрелы.

По странному стечению обстоятельств, выходя от Коковцова, я встретился в его приемной с Бюнтингом, который, вероятно, тут же ему доложил, что единственный способ не допустить меня в Государственную думу — это заставить выборщиков от духовенства голосовать против меня, что, однако, возможно лишь при решительном воздействии на тверского архиерея, с которым я веду выборную кампанию сообща.

Поездка моя в Петербург состоялась еще до выборов земским собранием членов Государственного совета, что именно и заставило меня баллотироваться в члены высшей законодательной палаты, хорошо понимая, что пройти в члены Государственной думы, при создавшихся условиях, мне будет трудно.

Наступил наконец и день выборов. В большой зале тверского Дворянского собрания сошлись все 60 выборщиков губернии, причем сразу определилось, что наше правое крыло имеет вполне обеспеченное и довольно значительное большинство. Но тут же утром я от одного из выборщиков от духовенства узнал, что всех их накануне собрали в архиерейском доме, где им владыка предложил некоего Н.Н. Лодыженского, состоявшего чиновником особых поручений при обер-прокуроре Синода, являвшегося одновременно одним из выборщиков по Кашинскому уезду, и сказал им, что они должны всецело действовать при выборах в Государственную думу соответственно его указаниям, так как он имеет, с своей стороны, указания обер-прокурора и вообще правительства. Как скоро выяснилось, Лодыженский приехал к

тверскому владыке с письмом от Саблера (по другой, непроверенной версии — было это будто бы письмо от Коковцова), в котором указывалось на необходимость склонить выборщиков от духовенства голосовать против меня. Владыка Антоний сам, очевидно, не решился воздействовать на духовенство в смысле его препятствия моим выборам.

Выборщики от духовенства проявили здесь большую дисциплину и необыкновенную честность. Несмотря на то что им было прямо сказано нашей партией, что если они не обещают дать голос за меня, то никто из них тоже не пройдет в Думу, они прямо сказали, что не могут послушаться данного им наказа. В результате все духовенство было забаллотировано. Я же вовсе не решился баллотироваться, так как явиться в Государственный совет после забаллотировки в члены Государственной думы считал неудобным: пришел-де к вам, потому что меня в другое, очевидно почитаемое мною за лучшее, место не пустили.

Наспех выставили мы тогда вместо кандидатов от духовенства и моей кандидатуры таких лиц, на которых октябристы могли сговориться с левыми. Имена их не помню — причем А.А. Лодыженского, левого октябриста, близкого к кадетам.

Припоминаю замечательную сценку этих выборов. Стоя внизу большой парадной лестницы Дворянского собрания, увидел я спускающуюся всю группу выборщиков от духовенства.

— Ну что, отцы, — сказал я им, — вот к чему вас привело то, что вы превратились в стадо пасомых каким-то чиновником.

— В этом не мы виноваты, — ответили они в голос, буквально скрежеща зубами от злости, — это все Петербург проклятый.

Прибавлю, что я и без голосов духовенства был бы, вероятно, выбран, но в последнюю минуту, уже после собственного избрания в члены Государственной думы, Шубинский дал ясно понять, что и он со своими верными клеветами, которых было с десятков (весь Калязинский уезд), тоже положит мне налево³¹. Откровенность эта, ему вовсе не свойственная, была, однако, вызвана отнюдь не желанием быть хотя бы в ничтожной степени честным, а стремлением запугать меня и заставить отступить от своей кандидатуры, так как он вовсе не был уверен, что, даже имея против себя его голос и голоса духовенства, я не был бы выбран. Этой цели он достиг. Баллотироваться я не решился.

Впрочем, участие правительства в выборах в Государственную думу не ограничилось устранением от выборов некоторых нежелательных для него лиц. Значительно дальше пошел департамент полиции. По-видимому, без ведома министра внутренних дел (Макаров это положительно утверждал при

допросе его в 1917 г. чрезвычайной следственной комиссией) департамент этот провел в Четвертую Государственную думу от рабочей курии города Москвы одного из своих агентов, определенного провокатора Малиновского, ставшего в Думе даже лидером [фракции] социал-демократической партии и произносившего с трибуны Государственной думы определенно зажигательные речи. Разоблаченный Бурцевым, специализировавшимся в деле уловления в революционной среде внедрившихся в нее или продавшихся полиции агентов-провокаторов, Малиновский принужден был выйти из состава Государственной думы и впоследствии большевиками был расстрелян.

Результаты усиленной работы правительства в деле выборов в Четвертую Государственную думу сказались весьма определенно не столько на составе ее, сколько на характере ее работы.

Действительно Четвертая Государственная дума по своему партийному составу не многим отличалась от своей предшественницы — Третьей Государственной думы, но в нее не входили наиболее даровитые и наиболее боевые представители средних течений, именно благодаря этому количество отдельных фракций, на которые дробилась Четвертая Государственная дума, по сравнению с Третьей значительно увеличилось. Действительно, дробление это произошло не вследствие сколько-нибудь серьезного политического разномыслия между членами этих отдельных групп, сколько явилось результатом личного честолюбия их лидеров. Анархичность русской природы в связи с развившимся у многих членов Государственной думы честолюбием, выражавшимся в страстном желании играть самостоятельную видную роль, побудила этих лиц образовать вокруг себя хотя бы небольшую, но ими возглавляемую политическую группу.

Произошло это прежде всего вследствие отсутствия в Четвертой Государственной думе такого волевого человека, каким был А.И. Гучков, умевший объединять людей под своей властной фериолою и придавать председательствуемой им группе партийную дисциплину и сплоченность.

Надо, однако, признать, что практически на решениях Государственной думы дробление ее на мелкие группы отражалось незначительно, так как по существу все центральные группы легко сговаривались между собою и фактически всегда имели возможность провести свои предположения и пожелания. Следствие отсутствия в Государственной думе почти насильственно из нее исключенных Каменского, кн. Шаховского, А.И. Гучкова было иное. За их отсутствием Четвертая Государственная дума утратила тот дух инициативы, которым отличалась Третья.

Устранив из Государственной думы тех в общем преданных существовавшему строю членов Третьей Государственной думы, которые

отличались наибольшей самостоятельностью и напористостью, правительство, очевидно, думало превратить возглавляемое ими большинство Думы в послушное орудие. На деле же получилось то, что люди, вообще склонные преклоняться перед силою, при перемещении этой силы в ином направлении как бы меняют и свое начальство. Именно это и произошло с Четвертой Государственной думою; когда в борьбе, возникшей во время мировой войны между властью и широкими слоями общественности, последние все более явно превращались в сторону, обладавшую большей силой в стране, она послушно пошла на поводу этой самой общественности и дала себя в конечном счете совсем поработить имевшемуся в ее составе меньшинству — кадетам, как в большей степени отражавшим настроение и мысли общественности.

По своему партийному составу Четвертая Государственная дума, идя справа налево, состояла из фракции правых, численно несколько уменьшившейся по сравнению с Третьей Государственной думой. Как характер ее деятельности, так и лидеры ее остались прежними, хотя официальным ее лидером стало новое лицо, а именно А.Н. Хвостов, покинувший пост нижегородского губернатора в надежде, что он легче проберется к вершинам власти через Государственную думу путем выявления там своей преданности не столько существующему, сколько самодержавному строю. Видной роли в Государственной думе, однако, Хвостов не играл. Пытался он во время войны выдвинуться шовинистическими речами, направленными против проживающих в России немцев, в том числе и немецких колонистов Юга России, на которых в то время было воздвигнуто определенное гонение, но широкого отзвука его речи не получили.

Деятельного участия в работе Государственной думы правая фракция по-прежнему не принимала и продолжала стремиться не к приданию этой работе наибольшей плодотворности, а, наоборот, к возможному дискредитированию как перед общественностью, так, в особенности, перед государем как этой работы (как фактора национальной жизни), так и самой Государственной думы, в смысле ее враждебности существующему строю.

Следом за правыми шли, по-прежнему, националисты, утратившие на выборах значительное число мест в нижней палате. Лидеры и здесь были те же, что и в предыдущей Государственной думе, и практически группа эта при голосовании по-прежнему сливалась с фракцией октябристов. Фракция эта было новая и притом определенно правительственная. Исходя все из той же мысли превратить народное представительство в свое послушное орудие, правительство задалось целью иметь в составе Государственной думы как бы собственный орган. Образовал эту партию все тот же Крупенский, а возглавлял ее совершенно неуравновешенный и страдающий манией величия В.Н. Львов. Начав с того, что примкнул к крайним правым, Львов, по мере того как проникновение к власти становилось вероятнее при некотором ходе

налево, в ту же сторону и направил свои стопы. Его последующая политическая карьера выявила это в полной мере. Член Временного правительства, сдружившийся первоначально с Керенским и одновременно, очевидно плохо разобравшись в характере и истинных намерениях этого политического шарлатана, подстрекавший Корнилова к походу на Петроград, В.Н. Львов перекинулся затем к Колчаку в Сибирь и там вновь завел какие-то политические шашни с предавшими Колчака социал-революционерами и, наконец, очутился среди большевиков, где стремился, по-видимому тщетно, стать во главе управления отколовшейся от православной церкви группы духовенства, образовавшей так называемую обновленную живую церковь. Специализировался В.Н. Львов на вопросах, касающихся церкви, еще во время войны и затем прилагал все старания не только к разглашению, но даже к преувеличению степени и влияния Распутина на дела церковные, и в частности в решениях Св. синода.

Товарищем председателя этой группы, влиянием, в общем, не пользовавшейся, был сам организатор партии П.Н. Крупенский, а рупором этой партии, отличавшейся, между прочим, почти полным отсутствием у нее партийной дисциплины, был некто Савенко, обладавший некоторым ораторским талантом.

Следом за партией правого центра непосредственно шло рабочее ядро Третьей Государственной думы — фракция октябристов, сохранившая это положение и в Четвертой Государственной думе, невзирая на то что вследствие усилий правительства она утратила на выборах многих из своих наиболее талантливых представителей. На внутреннем строении этой фракции отсутствие в Государственной думе А.И. Гучкова дало себя в особенности чувствовать: фракция эта в Четвертой Государственной думе разбилась на три отдельные группы. Наибольшую из них по числу членов составляли октябристы-земцы. Председателя у этой группы, облеченного этим званием, не было, а фактически председательствовал товарищ председателя Алексеенко. Другим товарищем председателя был Н.В. Савич. Засим, по обе стороны этого октябристского центра, располагались: с правой стороны консерваторы, избравшие своим председателем Шульгина (их было всего 16 человек), а слева — октябристы-прогрессисты, число которых не превышало 15 человек. Во главе их стоял С.И. Шидловский, имевший склонность сговариваться с кадетами.

Перечисленные центральные фракции, т.е. националисты, правый центр и октябристы, взятые в совокупности, составляли как большинство в Государственной думе, так и ее рабочее ядро.

Далее влево шла уже оппозиция, как то фракция кадет, численно несколько, но незначительно превышавшая ту же фракцию в Третьей Государственной

думе. Лидером ее состоял по-прежнему Милюков, а наиболее видными членами те же Родичев, Шингарев, Маклаков и другие.

Тактика этой фракции, однако, существенно изменилась по сравнению с той, которой она придерживалась в Третьей Государственной думе. Мысль о дискредитировании Государственной думы ею была оставлена, и соответственно сему прекратила она и свою систематичную obstruction к работе этого учреждения. Кадеты, очевидно, убедились, что гораздо целесообразнее ради достижения первоначально поставленной ими цели, внедрения в России демократических начал, вступить самим в работу Государственной думы и стремиться таким вполне легальным путем достигнуть того, чего путем obstruction никак не завоеешь. Обратный образ действий приводит лишь к тому, что отбрасывает вправо тех членов Государственной думы, которые не прочь были с кадетами во многом сговориться. Именно к этому направили свои усилия кадеты Четвертой Государственной думы и впоследствии — во время мировой войны — в значительной степени этого достигли. Так, левые октябристы в конечном результате настолько с ними сблизились, что почти неизменно голосовали с ними. Изменение образа действий кадетской партии в Государственной думе не обозначало, однако, что и партия как таковая переменяла свою тактику. Не переставала эта партия преследовать свои личные и партийные цели, недостаточно сообразуясь с тем, поскольку они при этом жертвуют целями и интересами общегосударственными. Не отказалась поэтому партия от своего любимого занятия — всемерного развенчивания и осуждения существующего строя, не стесняясь при этом прибегать к извращению фактов и тем более к тенденциозному их освещению. Прибегала к этому при случае и думская кадетская фракция, используя при этом трибуну Государственной думы, но все же в работах Государственной думы она приняла участие усиленно и добросовестно.

Сообразили, по-видимому, кадеты и то, что при их постоянном стремлении не столько к фактическому укреплению в России правового строя, сколько к его юридическому формальному закреплению в писаных актах они достигнут гораздо меньших результатов, нежели октябристы, готовые во многом поступиться при оформлении тех или иных положений, лишь бы реальные результаты проводимых ими законопроектов практически вели к внедрению в стране правовых приемов управления. Дело в том, что октябристы или, вернее, их вождь очень скоро поняли, что правительству важно для сохранения своего положения у престола, чтобы произведенные в стране реформы были облечены в такие формулы, которые бы явно не ослабляли самодержавного принципа, ибо в таком случае даже самые решительные изменения в строе государственного управления не вызывали у верховной власти обострения ее весьма щекотливого отношения ко всему, что имело характер упразднения абсолютизма. Так, существовали слова, которые неизменно вызывали открытое негодование верховной власти, и к

ним прежде всего принадлежало слово «конституция», и этого слова октябристы нарочито избегали, кадеты же, напротив, повсюду его втискивали, наивно думая, что закреплением какого-либо термина можно закрепить и сущность его содержания. Правые разбирались в этом вопросе гораздо лучше. Они вполне понимали, что работа октябристов медленно, но верно приведет к гораздо большему участию общественности в делах государственного управления и к значительно более скорому превращению управления страной из полицейско-бюрократического — в самоуправляющееся, нежели резкая, бестактная и формально-тупая политика кадет. Не без основания поэтому правые усматривали своих наиболее опасных врагов именно в октябристах и о всяком их действии доносили на верхи.

Левее кадет оказалась новая фракция прогрессистов, числом незначительная и поставившая себе главной целью перешагнуть кадет оппозиционностью и радикальностью. Лидером этой группы состоял И. Ефремов, человек определенно тупой и бездарный, но крайне честолобивый. Украшением этой группы был, несомненно, Н.Н. Львов, увлекающийся характер и горячий темперамент которого неизменно бросали его в борьбу со всем тем, что ему представлялось не абсолютно чистым и незаконным. Горячий патриот, доказавший это на деле в период борьбы Добровольческой армии с большевиками, Н.Н. Львов во время мировой войны, по-видимому, проникся убеждением, что существующая власть не в состоянии дать России победу над врагами, и поэтому, естественно, превратился в горячего противника обладателя этой власти.

За прогрессистами шла так называемая народническая партия³⁶. Как это указывает и самое ее название, она видела в народных массах соль земли и ту часть населения, ко благу которой должны быть по преимуществу направлены все усилия государства, но одновременно партия была проникнута национальными стремлениями, а идеи интернациональные глубоко противоречили ее мирозерцанию. Во главе этой фракции стоял человек, обладавший сильной волей, но недостаточно уравновешенный, малообразованный и малорассудительный — казак Караулов. Впоследствии, при захвате большевиками власти, он встал во главе одного из казачьих войск и большевиками был убит.

Этим и ограничивались те фракции Государственной думы, которые в большей или меньшей мере влияли на ход ее работ, а равно обладали известной долей государственного понимания. Левее были лишь две незначительные социалистические группы, как то фракция трудовиков, скрывшая под этим названием свое истинное название — социалистов-революционеров, и, вторая, фракция социал-демократов—меньшевиков. Первая возглавлялась А.Ф. Керенским, впоследствии столь способствовавшим окончательному развалу Русского государства, а вторая

имела во главе грузина — Чхеидзе. Обе эти партии никакой роли в Государственной думе не играли, и с выступлениями их ораторов Государственная дума совершенно не считалась. Это не мешало, однако, их членам выступать по временам с пламенными речами, но произносились они не для Думы, а, по немецкому выражению, «für die offene Fenster» и имели целью по возможности разжигать рабочие массы.

То обстоятельство, что правительство сумело не допустить в Государственную думу некоторых наиболее красочных представителей рабочего центра Третьей Государственной думы, не могло, разумеется, не повлиять как на внешность Четвертой Государственной думы, так и на ее работу, и это тем более, что новых видных парламентских деятелей страна в Четвертую Государственную думу не послала.

Не раздавалось с трибуны Четвертой Государственной думы тех благородных, дышащих любовью к родине, но вместе с тем смелых речей, какими были в Третьей Государственной думе речи А.И. Гучкова, Каменского и кн. Шаховского. Лишилась в их лице Четвертая Государственная дума и дельных, образованных и работающих членов образованных в Государственной думе отдельных комиссий, что, конечно, затрудняло их работу. Надо, однако, сказать, что, с другой стороны, изменение тактики кадет, а именно отказ их от той систематической обструкции, которой они предавались в Третьей Государственной думе, в общем облегчило работу.

В результате все сложные внесенные правительством в Государственную думу законопроекты были ею благополучно в комиссиях рассмотрены и с теми или иными изменениями внесены в Государственный совет. Так, военная комиссия ассигновала уже осенью 1912 г. на военные нужды 60 миллионов, а весной 1913 г. на ту же надобность еще 129 миллионов.

Впрочем, надо сказать, что именно на работах военной комиссии всего резче сказались изменения отношения правительства к Государственной думе.

По составу своему комиссия эта изменилась незначительно. Кадеты, выставившие в качестве своих кандидатов в эту комиссию наиболее левых своих сочленов и при этом настаивавшие на включении в нее членов всех отдельных левых фракций Государственной думы, были все plenum'ом Государственной думы забаллотированы, так что в конечном результате в комиссии этой остался лишь один представитель оппозиции — прогрессист Челноков, но председателем комиссии был избран националист П.Н. Балашов, человек, для этой роли совершенно непригодный. Правда, товарищем председателя был избран Н.В. Савич, вложивший всю свою душу в дело комиссии и весьма скоро превратившийся в ее рабочую ось, но исполнять роль председателя он все же не мог. К тому же в самом начале

деятельности этой комиссии в Четвертой Государственной думе произошел по внешности весьма незначительный инцидент, но как-то сразу отразившийся на характере ее деятельности, а именно переименовании ее, по настоянию военного министра, из комиссии по обороне государства в комиссию по военным и морским делам. Это незначительное обстоятельство или привело, или, вернее, совпало с утратой этой комиссией того значения, которое она имела в Третьей Государственной думе. Из комиссии, обсуждавшей по существу вопросы, относящиеся до укрепления военной мощи государства, и проявившей в этой области широкую личную инициативу, она превратилась в комиссию, ограничивающуюся обсуждением вносимых правительством законопроектов, касающихся вооруженных сил империи.

Вопрос об ассигновании огромных сумм, требуемых для полного осуществления большой военной программы, прошел и в комиссии и в plenum'e Государственной думы вполне благополучно, но при этом выявилось отсутствие в Государственной думе лиц, способных обнять огромный вопрос государственной обороны во всей его широте.

Дело в том, что вопрос этот ранее его обсуждения в общем собрании Государственной думы подвергся рассмотрению в частном заседании всех председателей отдельных фракций Государственной думы, при участии всех членов правительства. Здесь ярко сказалось отсутствие главного вдохновителя по этому вопросу военного ведомства А. И. Гучкова.

Военный министр Сухомлинов совершенно не сумел отчетливо доложить все задачи, осуществление которых необходимо для постановки обороны страны на крепких устоях. Речи, произнесенные членами Государственной думы, были определенно обывательского свойства. Значительно ближе других подошел к вопросу А.И. Шингарев, указавший, что для облегчения обороны страны недостаточно организовать мощную, соответственно вооруженную армию. Для успеха при столкновении с другими народами, говорил он, необходимо, чтобы все отрасли народной и государственной деятельности были на более или менее одинаковом уровне с их состоянием у противника. Так, наряду с наличностью соответственных вооруженных сил государство должно сообразно с ними развить всю свою экономическую деятельность и опираться на правильную финансовую систему.

Положение это, по существу ныне бесспорное, — мировая война это вполне доказала — страдало, однако, своей общностью, так как никаких конкретных мер, направленных к достижению указанной цели, не заключало, а среди присутствующих членов правительства никакого отклика не встретило.

В конечном результате Четвертая Государственная дума в общем, несомненно, способствовала в период ее нормальной работы, т.е. до начала

мировой войны, упрочнению конституционного строя в стране. При ней народное представительство все более становилось одним из важнейших факторов народной жизни. Текущая законодательная деятельность становилась все более немислимой без деятельного участия в ней народных представителей. Лица, составлявшие правительственный аппарат, привыкли считаться с Государственной думой, приносившись к общей с ее членами работе в комиссиях и, ввиду все большего отсутствия сплоченности в Совете министров, при разномыслии между отдельными министрами стремились заручиться поддержкой членов Государственной думы для проведения своих предположений.

Это было, однако, не единение с правительством как с таковым, а лишь временные союзы с правительством отдельных ведомств. Так, благодаря налажившимся с членами Государственной думы отношениям министров: Кривошеина — земледелия, гр. Игнатъева — народного просвещения и Григоровича — морского, неизменно достигалось при содействии нижней законодательной палаты ассигнование всех необходимых средств для осуществления предположенных ими мероприятий. Наоборот, того тесного сотрудничества, которое в течение некоторого времени существовало между Третьей Государственной думой и правительством, сотрудничества, осуществляемого вследствие близости председателя Государственной думы Гучкова с председателем Совета министров Столыпиным, у Четвертой Государственной думы с главой правительства совершенно не было. Вследствие этого политическим фактором, влияющим не только на законодательную деятельность государства, но и на всю совокупность государственной политики, в том числе и на область управления, каким, несомненно, была Третья Государственная дума, Четвертая, безусловно, не была.

Вообще, отношение Коковцова к Государственной думе было формально корректное, но отнюдь не дружественное. Был к тому же довольно длинный период, когда председатель Совета [министров] порвал всякие отношения правительства с Государственной думой, причем произошло это, в сущности, по весьма ничтожному поводу, вызванному к тому же одним из лидеров правого крыла. Дело в том, что однажды при обсуждении в Государственной думе какого-то вопроса в присутствии председателя и некоторых членов Совета министров, если память мне не изменяет, положения об амурской пограничной страже, Н.Е. Марков ни с того ни с сего вдруг заявил: «А прежде всего не надо красть». Ни к кому в частности это заявление обращено не было, но из общего смысла его речи можно было понять, что оно относилось к правительству. Злые языки впоследствии приписывали эту столь же неожиданную, как и дикую выходку лидера правых тому, что Коковцовым незадолго перед тем была решительно сокращена субсидия, выдаваемая правительством на издание правой фракцией ультраконсервативной газеты «Земщина». Как бы то ни было, В.Н. Коковцов

счел нужным обидеться и немедленно уйти из Государственной думы, уведя с собою и всех присутствующих членов правительства, и после того в течение нескольких месяцев ни он сам, ни другие министры, от которых он, очевидно, это потребовал, в Государственной думе не появлялись.

Ничего более несуразного представить себе положительно нельзя.

От правительства зависело обратиться к председателю Государственной думы с заявлением о принятии каких-либо репрессивных мер по отношению к употребившему непарламентское выражение члену Государственной думы. Еще проще было бы тут же самому войти на трибуну Государственной думы и потребовать от Маркова объяснений по поводу сказанных им слов, что, несомненно, исчерпало бы весь инцидент. Можно было, наконец, поступить так, как поступил Столыпин с членом думы Родичевым, сказавшим, что со временем веревку вешаемых будут называть столыпинским галстухом, а именно вызвать Маркова на дуэль, что, разумеется, кончилось бы, как это кончилось в инциденте с Столыпиным, принесением неосторожным оратором должных извинений. Но вследствие слов, произнесенных отдельным членом Государственной думы, хотя бы слова эти и не встретили немедленного осуждения со стороны председателя Государственной думы, прекратить всякие отношения правительства с народным представительством — решение, столь же неожиданное, как и не государственное. Поза «*ich bin beleidigt*»⁴⁵ для правительства совершенно неподходящая. Но самое любопытное также то, что сама Государственная дума в течение довольно долгого времени не знала даже причины непоявления в стенах Государственной думы членов правительства, причем оно не обратило на это даже особого внимания. Когда же Государственная дума наконец поняла, что правительство ее определенно бойкотирует, то ей очень легко удалось этот бойкот прекратить. Способ был простой — президиум Государственной думы перестал ставить на повестку все дела, наиболее интересовавшие правительство, а именно все законопроекты, связанные с ассигнованием в распоряжение правительства каких-либо новых средств. Случилось так, что острее ощутил последствия такого образа действий Государственной думы морской министр Григорович. Осведомившись о причине задержки Государственной думой интересовавшего его представления и не получив, по-видимому, разрешения на личную явку в Государственную думу от председателя Совета [министров!], Григорович обратился за этим разрешением непосредственно к государю, который и не замедлил его дать. Тотчас после этого Григорович запросил Государственную думу о том, когда он может рассчитывать на обсуждение пленум'ом Государственной думы давно уже одобренного военной комиссией интересовавшего его проекта, заявив, что для его защиты он явится лично. В результате упомянутый проект был немедленно включен в ближайшую повестку и в присутствии Григоровича одобрен Государственной думой. Примеру Григоровича

последовали и другие министры, а следом за ними пожаловал в заседание Государственной думы, как говорится, несолоно хлебавши, и В.Н. Коковцов.

Приведенный инцидент характеризует, однако, не только отношение председателя Совета министров к народному представительству, но и степень его власти по отношению к его коллегам, и нельзя потому удивляться, что на должности председателя Совета министров Коковцов, по существу, оставался лишь министром финансов и главою правительства отнюдь не был.

Возвращаюсь, однако, к работе Четвертой Государственной думы. Медленно, но прочно укрепляла работа эта правовые порядки в государстве и понемногу усовершенствовала отдельные отрасли его управления. При этом открытые конфликты ее с правительством становились все реже и борьба с ним все более превращалась в мирные переговоры и принимала характер сговора, а порой и торга. Вы-де уступите нам то и то, а мы вам дадим за это то и то. Прием этот удачно практиковался в Третьей Государственной думе, и его удачно продолжили в Четвертой. Одновременно борьба эта или торг уходили с трибуны Государственной думы, опускаясь, так сказать, в ее недра, а именно в комиссии, причем нередко разрешались путем простых переговоров между лидерами фракций Государственной думы и представителями власти.

В результате за те два года, в течение которых Четвертая Государственная дума работала в нормальных условиях государственной жизни (последующие годы ее деятельности протекали уже в период мировой войны), ею были рассмотрены и одобрены ряд весьма существенных законопроектов, в особенности в области вопросов судопроизводства и уголовного права. Так, ею был одобрен проект устройства мировых судов, установлена ответственность правительственных чиновников путем предоставления прокурорскому надзору права их привлечения к следствию без предварительного согласия их начальства, введен институт так называемого условного осуждения и, наконец, одобрено новое положение о Правительствующем сенате. Реформа Сената имела огромное значение в деле коренного упразднения всякого личного произвола власти. Согласно этому положению, получившему после его одобрения Государственным советом Высочайшее утверждение, т.е. силу закона, личный состав Сената пополнялся не путем назначения, а путем избрания новых членов.

С началом войны почти всецело прекратилась законодательная работа народного представительства и совершенно нарушено было нормальное течение, а тем более развитие народной жизни и ее хозяйственного благоустройства. Необходимо поэтому дать несколько, хотя бы и весьма кратких, сведений о росте народного богатства и развитии государственного хозяйства в течение тех семи лет, в продолжение которых правительственная

власть то в большей, то в меньшей степени дружно работала с большинством народных представителей.

Обращаюсь прежде всего к государственному хозяйству, поскольку оно отражалось в росписи государственных доходов и расходов и тех финансовых результатов, которые оно давало. Здесь надо прежде всего повторить то, что я уже указывал, а именно что Третья Государственная дума начала свое сотрудничество с правительством в сравнительно тяжелый в экономическом отношении период государственной жизни страны, только что пережившей серьезное поражение в своем боевом столкновении с Японией, и хотя по условию заключенного мира никакой контрибуции как таковой не уплатила, но тем не менее значительные суммы за причиненные Японии побочные убытки вынуждена была ей возместить. Словом, в общем Японская война, по исчислению, произведенному нашим финансовым агентом в Париже Артуром Рафаловичем, обошлась Государственному казначейству [в] 2300 миллионов рублей. Смута 1905—1906 гг. тоже в значительной степени расстроила положение наших финансов, так что к 1 января 1906 г. Государственное казначейство не только не имело никакой свободной наличности, а еще состояло должным Государственному банку за выпущенные им шести процентные свидетельства Государственного казначейства 158 миллионов рублей.

Ежегодный наш бюджет также балансировался довольно крупным дефицитом, покрывавшимся путем иностранных займов, совершение коих было, впрочем, необходимо главным образом для поддержания на нормальном уровне курса нашей денежной единицы.

Не прошло, однако, и двух лет, как, несмотря на значительное увеличение государственных расходов, бюджеты наши заключались в порядке их исполнения весьма значительным превышением доходов над расходами, отчего и получилась огромная свободная наличность Государственного казначейства.

Составив на 1 января 1910 г. 107 миллионов рублей, она достигла к 1911 г. 333 миллионов рублей, к 1912 г. — 477 миллионов рублей, а к 1913 г. свыше 600 миллионов.

Если наше государственное хозяйство развивалось и крепло, причем даже накапливало в свое распоряжение такие огромные суммы, которые ему совершенно не были нужны, то, конечно, лишь благодаря тому, что не по годам, а, можно сказать, по дням и по часам развивалось хозяйство народное. Решительно не было той отрасли производства, которая бы бурно не развивалась.

Естественно, что при таких условиях силою вещей восстала и другая великая задача — освобождение населения от его главного врага — зелена вина —

пьянства. Наш бюджет, как всем известно, покоился преимущественно на доходе от винной монополии. Понятно, что заведующие русскими финансами относились с величайшей опаской ко всем мерам, могущим сколько-нибудь решительно сократить этот источник государственных доходов. На этой же точке зрения стоял, разумеется, и председатель Совета министров и министр финансов В.Н. Коковцов. Иначе смотрел на это А.В. Кривошеин, непосредственно в качестве главноуправляющего земледелия и землеустройства не ответственный за состояние русских государственных финансов, с другой стороны, вполне постигающий, какой огромный источник доходов составит русский трезвый крестьянин. Смелый и решительный в своих государственных начинаниях, Кривошеин, в то время пользовавшийся особым доверием не только государя, но и императрицы, решил взять быка за рога и так или иначе провести решительные меры против распространения пьянства. Государь, всегда увлекавшийся широкими планами, направленными к благоденствию широких народных масс, не только легко воспринял мысли Кривошеина, но тотчас сам сделался их горячим инициатором. Коковцову государь предложил немедленно внести в законодательные учреждения проект мер, направленных к уменьшению сбыта казенного вина, иначе говоря, водки. Едва ли с большой охотой, но подчиняясь царскому велению, Коковцов исполнил данное ему поручение. В Государственную думу был внесен законопроект под скромным наименованием «некоторых изменений в положении о казенной продаже напитков». Законопроект этот, в общем заключающий лишь незначительный паллиатив, вызвал в Государственной думе обширные дебаты. Говорил чуть ли не четырехчасовую речь член Думы от Самарской губернии Чельшев, уже раньше занявший место проповедника трезвости, в которой он отстаивал мысль о полном воспрещении производства и продажи водки.

Предлагались и другими членами Думы решительные меры к сокращению потребления вина, но в конечном результате законопроект был принят Думой лишь с незначительными дополнениями в смысле усиления мер, направленных против пьянства. Иная судьба постигла его первоначально в Государственном совете. Здесь решительным инициатором целого ряда радикальных мер против пьянства выступил не кто иной, как сам творец винной монополии С.Ю. Витте. Мотивы, которые им руководили, были при этом, несомненно, разнообразны; именно на винной монополии укрепивший положение Государственного казначейства Витте, пока он был во главе финансового ведомства, несомненно принимал все меры к увеличению сбыта казенного вина. Так, именно по его настоянию агенты фиска всемерно старались об отмене подлежащею властью, вследствие несоблюдения ими тех или иных формальностей, приговоров сельских обществ о закрытии в их пределах продажи напитков. Иное отношение к этому вопросу проявил Витте в декабре 1913 г., когда он обсуждался в Государственном совете. В пространной речи он доказывал, что его мысль, при создании по указанию императора Александра III винной монополии, была именно урегулировать

потребление водки, но что эта мысль была его заместителями совершенно извращена, до такой степени, что ныне главное управление казенных питий превратилось в растлителя народной нравственности. В постоянных поисках способа возвращения к власти, Витте, надо полагать, в ту минуту мыслил, что лучшим средством вернуть себе царское благоволение было именно всемерно распинаться за распространение трезвости. Из его речей было ясно, что он лично берется сократить до крайности доход от винной монополии без нарушения государственного бюджета. Ему, как, впрочем, и всем близким к правительственным кругам лицам, было в то время хорошо известно, что мысль эта всецело овладела государем. Попутно потопить Коковцова, которого он до чрезвычайности не любил, ему тем более улыбалось, что тем самым открывалась вакансия министра финансов, вновь стать которым он не переставал надеяться.

Чрезвычайную стойкость выказал при этом Коковцов. Он не мог, конечно, не понимать, что, продолжая упорствовать в отстаивании винной монополии как главного источника государственных доходов и отвечая на всякую радикальную меру решительным «поп possumus», он одновременно рисковал своим положением. Однако на все предложения, исходившие из среды Государственного совета об усилении мер, направленных к сокращению потребления водки, он отвечал решительным «поп possumus». Тем не менее в дуэли между двумя последовательными министрами финансов — Коковцовым и Витте — одолел бы, конечно, не последний: слишком глубоко запало в душу государя недоверие к вдохновителю Манифеста 17 октября, если бы в этот бой не вступило третье лицо, открыто, впрочем, не выступавшее, а именно тот же А.В. Кривошеин. С Коковцовым его отношения уже давно испортились. Постоянное сопротивление финансового ведомства увеличению ассигнований на землеустройство и агрономию и вообще всяких расходов Главного управления земледелия, конечно, раздражало Кривошеина, и хотя он неизменно оставался победителем, тем не менее борьба с Коковцовым его утомляла и раздражала. Люди совершенно разных темпераментов, они вообще трудно уживались друг с другом. Преисполненный инициативы, мечтавший о грандиозных реформах. Кривошеин не мог переваривать Коковцова — этого типичного представителя постепенщины, равновесия, умеренности и аккуратности. Одновременно он, разумеется, стремился закрепить свое положение, превращаясь из фактического руководителя всей государственной политики, каким он, несомненно, был в то время, в ее официального главу.

Эта мечта его была в то время необычайно близка к осуществлению. Вопрос этот был даже в принципе решен. Коковцов должен был быть уволен от должности председателя Совета министров, равно как министра финансов, а на пост председателя должен был быть назначен Кривошеин. Но тут судьба сыграла с ним злую шутку. Он внезапно заболел, причем весьма опасно. У него объявилась грудная жаба, жестокие приступы которой ежеминутно

угрожали ему мгновенным концом. Заболел он, если не ошибаюсь, в начале ноября 1913 г., и в половине декабря его положение было весьма тяжелое. Ни о каком новом назначении его и речи не могло быть. Однако во второй половине декабря он настолько поправился, что всякая немедленная опасность исчезла, но приступить к работе он еще не мог: доктора прописали ему продолжительный отдых и поездку в теплые края. Как было выйти из этого положения?

Министром финансов был назначен П.Л. Барк. Кто провел этого, впоследствии не стеснявшегося сношениями с Распутиным, смелого финансиста в министры? Кривошеин говорил, что это был его выбор. Витте утверждал, что Барк выбран по его рекомендации, в чем я, однако, весьма сомневаюсь. Витте всегда стремился сохранить видимость государственного деятеля, имеющего влияние на ход государственных дел, а приписывать себе инициативу в том или другом правительственном акте, не служившем предметом его нападок, было приемом, им издавна усвоенным. Витте хорошо понимал, что в Петербурге, для того чтобы играть известную роль, нужно не столько обладать действительным влиянием, сколько казаться, что им обладаешь. Таким путем достиг известного положения такой проходимец, как Андронников. Как бы то ни было, тотчас после совершившейся смены председателя Совета министров и министра финансов законопроект о пьянстве, еще не пропущенный Государственным советом и продолжающий возбуждать при его обсуждении горячие прения, тотчас Утратил всякий интерес. Утратил к нему всякий интерес и Витте. Продолжение его обсуждения происходило уже в совершенно иной атмосфере. Проникшее в публику, а тем более в среду Государственного совета известие, что Барк получил портфель министра финансов, обязавшись перестроить весь государственный бюджет и принять действительные меры к сокращению потребления, а следовательно, и сбора с вина, отняло и смысл бороться с яростью на почве обсуждаемого проекта с новой главой финансового ведомства. Тем не менее Государственный совет внес в этот проект ряд новых мер, направленных к сокращению продажи водки, и именно в таком виде превратился он в действующий закон. Трудно сказать, в какой мере проведенные мероприятия оказались бы действительными. Возникшая шесть месяцев спустя мировая война и последовавшее с объявлением войны полное прекращение продажи водки, сопряженное с полным воспреещением ее сбыта, не дали возможности на практике испытать действительность упомянутого закона.

Не помню, какие еще вопросы волновали петербургские политические круги в течение первой половины 1914 г. Помню, однако, вызвавший горячие споры и пререкания вопрос о так называемой мелкой земской единице, иначе говоря, об учреждении волостного земства.

Соответствующий законопроект, уже давно выработанный в Министерстве внутренних дел — еще при Столыпине, застрял в совете Главного управления местного хозяйства, составленного, как известно, из представителей земств и дворянства.

Под напором Государственной думы и не без косвенного участия и в этом деле Кривошеина министр внутренних дел Н.А. Маклаков, едва ли вполне сочувствовавший учреждению волостного земства, а son corps defendant внес этот вопрос в Государственную думу, где он при, как всегда, упорной оппозиции кадетов («мы-де хотим мелкую земскую единицу, но не ту, которую вы проектируете...») все же прошел и к маю месяцу поступил в Государственный совет. Здесь он встретил ожесточенную оппозицию среди правого крыла Государственного совета, инспирируемого П.Н. Дурново. Тщетно стремились земские представители в Государственном совете горячо защищать идею волостного земства, причем выдающееся участие принимал в этом вопросе член Государственного совета от московского земства гр. Ф.А. Уваров, — все их доводы разбивались не опровержениями со стороны членов правого крыла, а упорным заявлением — «не желаем». По мере сил я также принял в этом вопросе близкое участие. Как теперь, помню одну из фраз, произнесенных мною по его поводу с кафедры Государственного совета, оказавшуюся, увы, пророческой. Говорил я, имея в виду крупных землевладельцев: «Идите в волостное земство, пока не поздно, пока вас еще туда пустят». Небезынтересно\ отметить, что такие опять-таки штампованные кадеты, как члены тверского губернского земского собрания Мошнин и Петрункевич, не только вполне поддерживали проект Министерства внутренних дел, но даже находили, что устанавливаемое этим проектом правило, в силу которого землевладельцы, обладавшие определенным количеством земли, входили в состав волостного земства eo ipso⁴⁹ без всякого предварительного избрания, вполне естественно и необходимо, по крайней мере в первое время, пока население не убедится на практике, с одной стороны, в полезности участия в вопросах местного благоустройства землевладельческого элемента, а с другой, не научится само разбираться в местных вопросах и не поймет, что местное благоустройство нельзя строить, не удовлетворив потребностей отдельных селений, а лишь на здоровом принципе всеобщего благоустройства, обеспечивающего нужды всех слоев населения.

Как бы то ни было, но проект волостного земства был чуть ли не одним голосом в Государственном совете отвергнут, причем чрезвычайно странную роль играл в этом вопросе Н.А. Маклаков. Он не только не защищал проект, но довольно открыто высказывал свое личное несочувствие ему. Действительно от правительства вполне зависело проведение этого проекта в Государственном совете. Ведь не надо забывать, что правое крыло Государственного совета, насчитывающее около ста членов, состояло в большинстве из лиц, назначенных правительством, а среди них было немало

готовых следовать указаниям правительства. Такое указание, очевидно, дано не было, или, вернее, пущено было под сурдинку другое указание — «Правительство за законопроект не стоит». Конечно, вполне умыл руки и новый премьер И.Л. Горемыкин.

Его природная лень, усиленная под гнетом семидесяти лет, стала к тому времени господствующим фактором всей его деятельности.

В кулуарах Государственной думы рассказывалось в это время немало анекдотов насчет способа препровождения времени премьер-министром. Время это было распределено будто бы между сном, не только ночным, но и дневным, и чтением французских романов. Конечно, это было преувеличением. Верно лишь то, что с годами у И.Л. Горемыкина все более брало верх его основное, можно сказать, пронизавшее всю его природу пристрастие к предоставлению событиям беспрепятственно идти своим чередом, без всякого участия направляющей эти события человеческой воли.

Назначение Горемыкина не вызвало никакого сколько-нибудь резкого проявления общественного сочувствия или недовольства. Оппозиция — в лице кадетской партии и ее честолюбивого вождя — к весне 1914 г. окончательно присмирела, по крайней мере наружно. Разумеется, она предпочитала не только заигрывать, но даже заключать те или иные частные соглашения с социалистическими лидерами, а в тайниках ее, надо полагать, все более зрела преступная мысль добиться своих целей; из них же главная — захват власти революционным путем. Кадетская милюковская газета «Речь» придиралась ко всякому случаю, чтобы возбудить общественное недовольство, но делала она это осторожно, неоднократно уже испытав, что слишком явное и злостное опорочение строя и лиц, стоящих у кормила власти, не проходит безнаказанно: цензура осмелела и по временам, несомненно, утрачивала чувство меры, вернувшись даже к прежнему порядку изъятия различных вопросов из числа дозволенных к обсуждению на страницах прессы и по-прежнему смешивая подчас вопросы самые пустяковые с основными и существенными.

Не прекращалась, однако, агитаторская деятельность революционных элементов. Эта деятельность была далеко не безрезультатна. Отошедшие от встряски 1905 г. рабочие многочисленных петербургских фабрик, среди коих никогда не переставали действовать революционные ячейки, вновь становились более или менее послушным орудием революционных вождей. Сказалось это весной 1914 г. довольно серьезными беспорядками на фабриках, сопровождавшимися бурными уличными беспорядками. Правящие круги и массовый петербургский обыватель, в общем всегда и везде готовый фрондировать власть, но к революции относящийся в общем враждебно, не испытывали никакого беспокойства. Удачное подавление общественного движения 1905—1906 гг. вселило уверенность в безусловной крепости строя,

а следовательно, в отсутствии сколько-нибудь серьезной опасности во вновь пробудившемся рабочем движении.

В середине лета ожидалось прибытие в Петербург сначала английской эскадры, а затем и французской, на которой должен был приехать Президент Французской республики. По случаю этих приездов Петербург принял праздничный вид, а при дворе состоялся ряд официальных приемов и банкетов. Звучали слова о ненарушимой англо-, а в особенности франко-русской дружбе. Словом, международный политический горизонт был совершенно безоблачен, и члены законодательных палат, разъезжаясь в июне месяце на летние вакансии, отнюдь не предвидели приближения мировой грозы. Уехал на лето и я к себе, в принадлежащее мне родовое гнездо, расположенное в нескольких верстах от города Твери.

Часть VI. Годы мировой войны

Глава I Первый период войны (лето 1914 г. до весны 1915 г.)

Стояли жаркие погожие июльские дни. По заведенному в последние годы порядку в Тверской, Новгородской и Петербургской губерниях горели торфяные болота, и воздух на многие версты кругом был пропитан едким дымом. Россия, особенно в ее провинциях, предавалась обычному сонному застою. 12 июля в день двадцатипятилетия учреждения института земских начальников земские начальники Тверского уезда собрались на общий обед, в котором в качестве тверского уездного предводителя принимал участие и я. Хотя уже получены были известия об убийстве в Сараево австрийского кронпринца, но факт этот в представлении большинства не имел международного значения. Так, например, принимавшие участие в упомянутом обеде, в том числе и тверской вице-губернатор, исполнявший за отсутствием Бюнтинга должность тверского губернатора, были, как они мне сами впоследствии сказали, чрезвычайно удивлены, когда в застольном спиче я сказал, что Европа, по-видимому, находится накануне грозных исторических событий. Не усилилось в провинциальной глуши беспокойство и в последующие дни, хотя газеты уже были переполнены сведениями о дерзком ультиматуме Австрии, обращенном к Сербии, о приближении мирового на этой почве конфликта.

Продолжалось это спокойствие вплоть до самого момента получения быстро следовавших друг за другом двух приказов о мобилизации, первого о мобилизации частичной, а второго о всеобщей. Уже с утра 19 июля в Твери начался осмотр прибывающих запасных. Мобилизации проходили при полном спокойствии; запасные (младшие возрасты) являлись все и, по-видимому, относились к призыву в войска в достаточной степени спокойно.

Благодаря закрытию винных лавок никаких, даже незначительных, уличных бесчинств не происходило. Большую нервность проявляли военные части, спешно переходившие на военное положение. Воинские части стали уходить на фронтовые местности по прошествии лишь двух дней со дня объявления мобилизации. Посадка в поезда происходила в отменном порядке. Разумеется, провожавшие уходящие поезда женщины усиленно плакали, заметно было волнение и на лицах солдат, но шли они бодро и уверенно.

Менее спокойно прошла реквизиция лошадей по военно-конской повинности, производившаяся почти следом за людской мобилизацией. Во множестве крестьянских хозяйств главами оставались женщины, и именно они проявляли и крайнее недовольство, и даже полное отчаяние, когда у них стали отбирать лучших лошадей. Здесь пришлось видеть несколько весьма тяжелых сцен: бабы буквально выли. Наблюдая за осуществлением военно-конской повинности, я несколько раз не мог выдержать тяжелых сопровождавших ее сцен и, признаюсь, вполне произвольно оставил на месте нескольких добрых коней, признав их вопреки очевидности негодными.

Внезапный отлив мужского населения в первое время привел к почти полной остановке некоторых отраслей производства. Впрочем, на сельских работах в нашей Тверской губернии отлив этот почти не отразился. Мужчин заменили женщины, привычные ко всем сельскохозяйственным работам. Цены на рабочие руки, разумеется, поднялись тотчас, но абсолютной нехватки в этих руках все же не было. Пострадали строительные работы, требующие некоторой специальной подготовки. Середина июля на Севере России — самый разгар строительного периода. Собственно мужская сельскохозяйственная работа, сводящаяся в наших местностях главным образом к сенокосу, к этому сроку уже вполне закончена, уборка же посевов, площадь коих вообще незначительна, была во все времена преимущественно, если не исключительно, бабьим делом.

Утверждать, однако, что среди крестьянского населения был патриотический подъем и что война среди него была популярна, я не решился бы. Война вызвала молчаливое, глухое, покорное, но все же недовольство. В значительной степени примирила с ней начавшаяся приблизительно месяц спустя раздача пособий семьям призванных запасных. Дело это было поставлено весьма широко, но отнюдь не правильно. Сколько-нибудь точных инструкций, указывающих, какие именно члены семьи имеют право на получение пособий, своевременно установлено не было. Так, например, совершенно не было определено, с какого возраста мужчины, входящие в состав семьи, признаются неработоспособными. В результате получился крайний разнобой: в смежных уездах сплошь и рядом устанавливались совершенно различные способы определения размера назначаемых пособий.

Образованные с этой целью при земских управах комиссии одни относились очень строго, всемерно стремясь щадить государственные, иначе говоря, те же народные, средства, другие, наоборот, выдавали эти пособия с необыкновенной щедростью. Были случаи, и неоднократные, назначения семье запасного, особенно многочисленной, по 30 и до 45 руб. в месяц, т.е. суммы, которую сам призванный, безусловно, не зарабатывал. В подобных семьях бабы обычно отнюдь не горевали об уходе на войну своих мужей.

Если в массе крестьянского, а тем более фабрично-заводского населения война не вызывала ни патриотического чувства, ни негодования, то, наоборот, среди культурных классов она, несомненно, пробудила патриотическое чувство. Так, в земской среде она немедленно породила полное единение. Исчезли все политические разномыслия, и кадеты как правого, так и левого крыла проявляли такую же патриотическую приподнятость, как и лица, исповедовавшие правые лозунги. Молодые представители наиболее левых тверских родов, например Бакунины, тотчас пошли добровольцами на войну. Не отставала и интеллигенция в кавычках: третий земский элемент выказывал полную готовность работать не покладая рук для надобностей поставленного на военную ногу государства. Партийные задачи, насколько можно было об этом судить по общественным элементам Тверской губернии, были временно забыты.

Увы, не так отнеслись к тому же делу исконные земские интриганы, из них же первый — пресловутый будущий разрушитель Русского государства кн. Львов. Его первой заботой было воскрешение общеземской организации, причем, разумеется, он приложил все старания, дабы стать во главе этого дела. Не имея никаких формальных связей с земством, так как он уже давно не состоял гласным ни губернского, ни уездного земства (его родной уезд Тульской губернии, досконально его знавший, уже давно его забаллотировал), он тем не менее ничтоже сумняся решил возглавить собственной персоной общеземскую организацию. Проникнуть наверх и усесться на председательское кресло какими-либо косвенными путями было для него делом привычным. Достиг он этого и в данном деле. Прием, им употребленный, был столь же циничен, как и прост. Дело в том, что ему удалось какими-то путями сохранить от возглавления им во время Русско-японской войны общеземской организации довольно крупную сумму, в ту пору, когда еще не привыкли швыряться миллионами, казавшуюся даже огромной, а именно 800 тысяч рублей. Когда в Москве впервые собрались для образования общеземской организации земские Деятели определенного уклона, то среди них, разумеется, тотчас появился кн. Львов, причем цинично заявил, конечно в кулуарных перешептываниях, что в случае его избрания он внесет в ее кассу упомянутые 800 тысяч, тем самым говоря, что в противном случае он этого не сделает. Однако поначалу ход этот не возымел надлежащего действия. В Москве среди собравшихся земских людей, естественно, имели сильное влияние и большое значение московские

земцы. Между тем ими намечалось на означенное место другое лицо, а именно гр. Ф.А. Уваров, член Государственного совета от московского земства, и именно это лицо на первоначальном частном [совещании] собравшихся земцев и было избрано. Но судьбы России, очевидно, были предрешены. Гр. Уваров от выбора решительно отказался. Он тотчас по объявлении войны решил вступить в войсковые ряды среди родного ему казачества, в составе которого он состоял офицером запаса. Усиленные уговоры московских земцев, к которым присоединились и многие земцы других губерний, остались безрезультатны. А тем временем кн. Львов усиленно сзывал со всех концов России своих единомышленников, среди коих многие по существу вовсе не принадлежали к той клике беспринципных честолюбцев, ярким представителем которой искони и до конца своих дней был кн. Львов. В конечном результате отказ гр. Уварова расчистил дорогу кн. Львову, и он стал во главе общеземской организации, причем самые выборы были каким-то непонятным для меня образом произведены без предварительного созыва и оповещения составлявших общеземскую организацию специально уполномоченных для сего губернскими земскими собраниями¹. По крайней мере, я, член общеземской организации по уполномочию тверского губернского земства, извещения о предстоящем учредительном собрании не получал и посему на собрании этом не присутствовал.

Трудно определить все то огромное значение, которое имел выбор кн. Львова, с одной стороны, и отказ гр. Уварова, с другой. Не подлежит никакому сомнению, что, будь гр. Уваров на месте кн. Львова, все дело бы получило совершенно иной характер. Весьма возможно, что оно не получило бы такого широкого размаха, который оно получило при Львове. Чужие, будь то народные, средства для Львова были трын-трава. До скарденности скупой в личной жизни, общественные деньги тратил он не столько щедро, сколько расточительно.

Гр. Уваров, старый земец, дотошный, сам вникающий во всякое дело, упорный и властный, конечно, не дал бы развернуться общеземской организации в такое учреждение, вести которое, а тем более контролировать было совершенно не под силу. Да кн. Львов об этом и не заботился. В среде третьего элемента было принято за аксиому, что казенные средства в руках чиновников тратятся и непроизводительно, и халатно, и нехозяйственно, и даже бесчестно. Между тем не было на Руси от века такого учреждения, где бы безумные траты и, скажу прямо, расточительность приняли такие размеры, как в общеземской организации, и не миновать было главарям этой организации по окончании войны, если бы она не закончилась революцией, попасть на скамьи подсудимых. Кн. Львову важна была лишь одна вещь — пускать пыль в глаза общественности, с одной стороны, и быть носимым на руках всеми своими сотрудниками, [с другой]. Предела при этом его попустительству, безусловно, не было. Его подчиненные ничтоже сумняся

подписывали за него не только бумаги, но даже ассигновки. Ему это было известно, но он ограничивался лишь мягкими просьбами этого не делать. Были ли у кн. Львова с самого начала революционные замыслы? Думается мне, что нет. Конечно, он принимал в состав своих учреждений заведомых агитаторов, но делал он это не с целью создать аппарат усиленной пропаганды, а просто потому, что его основным правилом было предоставлять каждому делать все, что он хочет. Эти анархические свойства ярко сказались, и Россия дорого за них заплатила, да платит и по сию пору, ведь Львов возглавлял печальной памяти Временное правительство. Рекламист, честолюбец, Львов был лишен всяких задерживающих начал, и это тем более, что легкомыслию его не было пределов.

Вообще, образ действий правительства по отношению к общеземской организации был совершенно непонятный. Относясь к ней с полнейшим недоверием и нередко это высказывая, оно одновременно снабжало ее десятками миллионов, причем не подчинило их расходованию какому-либо контролю. Под тем предлогом, что земские учреждения не подчинены Государственному контролю, а ревизуются своими же выборными органами, Львов убедил Маклакова и правительство, что никакая правительственная ревизия расходов общеземской организацией отпущенных ей государством сумм не допустима, что это было бы оскорблением земства и общественности. Рассуждение до смешного наивное, разумеется, не выдерживало ни малейшей критики. Земство контролировало своими собственными органами расходы из доходов, уплаченных теми же земскими плательщиками, т.е. им самим. Здесь самоконтроль был, отвлеченно рассуждая, понятен и логичен, хотя по существу и он едва ли был правилен. Государство не только имеет право, но и обязано блюсти за правильным расходованием на общественные надобности сумм, какого бы происхождения они ни были. Но по отношению к суммам общегосударственного назначения иной порядок совершенно немыслим. К тому же если губернские земские собрания в лице своих ревизионных комиссий, действовавших 10—14 дней в течение года, с грехом пополам и могли проревизовать произведенные исполнительным органом земства — управой — расходы, то ревизия многомиллионных сумм, расходованных общеземской организацией, была таким путем совершенно неосуществима. С этой задачей мог бы справиться только Государственный контроль, обладавший мощным, налаженным и весьма опытным специальным аппаратом, действующим постоянно изо дня в день. В результате получилось то, что безбрежные расходы общеземской организации никакому контролю ни разу не были подвержены.

Правда, ревизионная комиссия на одном из собраний земских уполномоченных была избрана, но что же она сделала и к чему же пришла? Во-первых, вопреки всем земским традициям, ревизионная комиссия была избрана из лиц исключительно левого земского лагеря. В ее состав не были

допущены ни один представитель, относительно которого не было уверенности, что вся ревизия сведется к дифирамбу деятельности исполнительного органа организации — ее центральному комитету. Председателем комиссии был избран старый тверской земец В.Д. Кузьмин-Караваев, в политическом уклоне коего не было сомнений. Кончилась эта ревизия (да ничем иным кончиться она не могла) весьма поверхностным осмотром на месте в прифронтовой полосе некоторых учреждений. Собственно ревизии произведенных расходов не только не было, но к ней и не приступали, вполне правильно решив, что те 5—6 человек (не помню, сколько именно) если посвятят весь остаток дней своих ревизии произведенных расходов, то и то в таком случае не проконтролируют и половины их. Письменного отчета ревизии, по крайней мере, опубликовано во всеобщее сведение или хотя бы сообщено земским уполномоченным и через их посредство самим земствам также не было. Все свелось к тому, что председатель комиссии Кузьмин-Караваев на одном из собраний земских уполномоченных сделал устный доклад, разумеется, не о произведенных расходах и степени правильности их — отчет этот не заключал ни единой цифры, — а лишь литературное описание деятельности различных земских отрядов, работавших на фронте. Сводился же этот отчет по существу к сплошному восхвалению деятельности этих отрядов. По словам докладчика, на фронте решительно всем известно, что у правительственных учреждений ничего нет, а у «Всероссийского», как будто бы именовалась на фронте общеземская организация, решительно все есть. Все без исключения эпитеты, направленные к восхвалению их деятельности, и притом в превосходной степени, были без остатка исчерпаны. «Восхитительно», «поразительно», «великолепно», «удивительно», «превосходно», «идеально» — вот те слова, из которых на добрую треть состоял доклад Кузьмина-Караваева. Закончился он, разумеется, общими аплодисментами, и к вопросу о ревизии и контроле уже ни разу больше не обращались.

Но какова же была деятельность общеземской организации по существу, не касаясь того, что она, с одной стороны, заключала множество революционных агитаторов, а с другой — превратилась в убежище для всех желавших уклониться от непосредственного участия в войне в войсковых рядах, — пресловутые земгусары даже при общей общественной симпатии к земству и ее всероссийской организации сделались притчей во языцех.

Нет сомнения, что земские отряды, действовавшие на фронте, были снабжены всем необходимым и даже не необходимым весьма обильно. Нет сомнения, что они были богаче обставлены, нежели такие же организации казенные. Но происходило это лишь оттого, что с размером расходов общеземская организация не считалась вовсе, причем не была стеснена никакими предельными нормальными ценами и урочными положениями. На обратных условиях действовали учреждения казенные, да иначе действовать и не могли. Они получали средства по строго впрямь рассчитанному плану,

причем все их траты должны были укладываться в установленные ведомствами для отдельных предметов расхода нормальные заготовочные цены.

Впрочем, если общеземская организация работала неэкономно и даже расточительно, то все же известных результатов она достигла и до мартовской революции открыто революционной деятельности не предавалась. Иную картину представляла общегородская организация — центр ее деятельности был безусловно революционным.

Возвращаюсь, однако, к начальным дням войны. Как я уже упомянул, партийные распри в земской, а тем более дворянской среде сразу не только утихли, но даже исчезли. Бросились с энтузиазмом в ту работу, которая была доступна земским и дворянским организациям. Приступили к устройству в весьма широком размере тыловых эвакуационных госпиталей, причем отнюдь не жалели средств. Пересмотрены были земские годовые бюджеты, и из них исключены были все небезотложные и необязательные расходы. При этом мало считались с теми расходами, которые обусловят дальнейшее сколько-нибудь деятельное содержание вновь оборудованных госпиталей. Происходило это преимущественно от проникшего почти всех убеждения, что война будет крайне непродолжительная. Так, тверское экстренное Дворянское собрание поначалу решило ассигновать весь свой запасный капитал на устройство госпиталя в дворянском доме, совершенно не считаясь с теми эксплуатационными расходами, которые это породит. Стоило большого труда убедить господ дворян, что необходимо считаться с возможностью продолжительной войны. Состоявшееся ко времени этого собрания присоединение к державам Согласия² Англии и выяснившийся нейтралитет германского союзника Италии настолько всех опьянили, что господствовала мысль об окончании войны чуть ли не в шесть недель. Припоминалась Франко-прусская кампания 1870—1871 гг., и решили, что новая война будет столь же быстротечна, но с обратными для воюющих сторон результатами. Тщетно некоторые благоразумные люди старались разъяснить, что Германия все же не без предварительного тщательного обдумывания вызвала международный конфликт, и что если победу над ней нужно считать при дружной работе держав Согласия обеспеченной, то все же борьба эта будет трудная и, несомненно, длительная.

«В Берлин, в Берлин!» — говорили на все лады оптимисты, а их было большинство, и вдумчивых людей это приводило в трепет. Припоминалось, что и французы с теми же криками вступили в 1870 г. в войну, столь трагически для них окончившуюся.

Убеждение в неминуемости торжества союзников и кратковременности военных действий господствовало, впрочем, и в петербургских правительственных сферах.

Как сейчас вижу, как после приема государем членов законодательных палат в Зимнем дворце Щегловитов и Кривошеин, обратясь к нескольким окружавшим их парламентариям, высказывали уверенность в скоропалительном разгроме Германии. Щегловитов, со свойственной ему манерой вводить шутку во всякий серьезный вопрос, с улыбкой говорил: «Ошибся Василий Федорович (т.е. император Вильгельм), ошибся. Не устоять ему».

Поддерживал ту же мысль и Кривошеин, причем было совершенно ясно, что он считал объявленную войну чуть что не благодеянием для России.

Многих увлекла, восхитила и преисполнила лучших надежд грандиозная народная манифестация перед Зимним дворцом, когда народная толпа, заполнившая всю обширную, прилегающую к дворцу площадь, приветствовала государя и при появлении его на балконе внезапно вся стала на колени и запела: «Боже царя храни».

Эта грандиозная манифестация побудила верховную власть издать акт, в котором провозглашалось единение царя с народом и утверждался даже образец флага, эмблематически соединявшего общественность и официальную Россию³.

Увы, настроение это продолжалось недолго, и едва ли не единственный воспользовавшийся им был тот же кн. Львов, сумевший на почве этого настроения получить в свое бесконтрольное распоряжение миллионы государственных средств. Не обошлось, впрочем, и здесь без весьма мелкой, но весьма странной шиканы⁴ со стороны правительства. Как почти всегда, упуская существенное и придираясь к мелочам, какому-то учреждению понадобилось разъяснить, что вновь утвержденный образец эмблематического флага не может быть употребляем как флаг и по своим размерам [он] не должен превышать нескольких квадратных вершков. Эмблему национального объединения обратили таким путем в детскую игрушку, и она вследствие этого тотчас утратила всякое значение и скоро была всеми забыта.

Правительство было, кроме того, убеждено в полной нашей боевой готовности. Так, в том же разговоре с парламентариями в Зимнем дворце Кривошеин, когда разговор зашел о сроке возобновления сессии законодательных учреждений, настаивал на отложении этой сессии до начала февраля следующего года, тогда как члены Государственной думы настаивали на сроке 1 ноября. При этом, потирая привычным нервным жестом свои руки, что было у него всегда знаком довольства, он говорил, обращаясь к членам законодательных палат: «Положитесь на нас, господа (т.е. на правительство), все пойдет прекрасно, мы со всем справимся».

Возвращаясь к участию общественных сил в общей народной работе на войну и победу, надо, разумеется, признать, что допустить их участие и даже привлечь их к нему было необходимо. Не столько это нужно было для пользы и существа дела, сколько психологически. Русские общественные силы к 1914 г. настолько выросли, что ставить их в положение простых зрителей происходивших событий, как это было, скажем, в войну 1877—1878 гг., было совершенно немыслимо. Их нужно было привлечь к жизненному участию в общей работе. Это и было сделано, но сделано чрезвычайно неохотно, причем, как всегда, придирались к пустякам, уступая во всем существенном и важном. Конечно, положение правительства было трудное. Общественное мнение, руководимое оппозиционными элементами, опирающимися в свою очередь на элементы революционные, ставило правительству всякое лыко в строку; наоборот, общественным учреждениям оно все прощало и раскрытие каких-либо дефектов воспринимало как козни и клевету правительства и на него же еще пуще по этому поводу негодовало. Полное неумение правительственного аппарата пользоваться гласностью и печатным словом тут, разумеется, играло существенную роль — обойтись в нашу эпоху без умелой и даже усиленной пропаганды ни одно правительство не в состоянии.

Само собою разумеется, что военные успехи изменили бы все положение, но, увы, этих успехов, после первой удаче — кратковременного захвата Восточной Пруссии и взятия Львова, не было. О степени впечатлительности массового рядового обывателя к действиям на фронте можно было судить, быть может, в особенности по провинциальной среде. Так, в Твери, где я прожил первое полугодие войны, известие о падении Львова, взятого нами, если память не изменяет, 30 августа⁵, т.е. лишь шесть недель после начала военных действий, произвело громовое впечатление. Начавшие прибывать в тверские госпиталю раненные, преимущественно с австрийского фронта, были в весьма приподнятом настроении. В один голос они говорили, что «наших на фронте видимо-невидимо» и что наши успехи обеспечены. Настроение это передавалось местному населению, и толки о весьма близком окончании войны приняли массовый характер. Увы, продолжалось это настроение недолго. Гибель армии Самсонова под Сольдауб произвела тем более потрясающее впечатление, чем меньше она была ожиданна. Это был удар грома при ясном небе. Надо сказать, что и самое извещение об этом поражении было составлено чрезвычайно неудачно. Извещение это, оканчивавшееся выражением надежды, что все же это поражение не означает потери всей войны, наводило как раз на обратные мысли. Русскому человеку в ту пору и в голову не приходило, что война может окончиться нашим поражением, и самое упоминание об этом, хотя и в виде отрицания такой возможности, вселило глухую тревогу и колебало крепкую до того уверенность в нашем, при участии мощных союзников, скором торжестве. На почве этой тревоги, как это неизменно в таких случаях бывает, поползли темные слухи об измене. Где они нарождались, откуда они шли, не было

возможности дознаться, и насколько в их распространении участвовали уже в то время революционные элементы и тайные немецкие агенты, трудно сказать. Во всяком случае, недостатка и в своих пессимистах, отнюдь не преследовавших при этом антинациональных целей, не было. Так, случалось, что те же лица, которые за несколько дней до известия о поражении под Сольдау распространялись на тему «гром победы раздавайся», с похоронными лицами провозглашали: «Все пропало».

Прекратившийся вскорости после этого маневренный период войны и принятие ею на долгое время характера войны позиционной, окопной, имели и другое последствие: обыватель как-то потерял интерес к сведениям с фронта. Война превратилась в его сознании в какую-то длительную, преисполненную всевозможных угроз, вечно ноющую и постороннюю его повседневной жизни болячку. Да и трудно было обывателю иметь другое отношение к этому национальному событию. Угар первых дней войны быстро прошел, цели ведь ему были непонятны, и правительство ничего не делало для того, чтобы разъяснить населению внутренний смысл войны и до какой степени с ее благополучным исходом связано все благосостояние страны и ее населения.

Потере интереса обывателя к войне существенно содействовала и чрезвычайная скудость, или, вернее, отсутствие известий с фронта. Официальные бюллетени заключали в большинстве случаев лишь самые общие указания, притом касающиеся всего фронта либо значительной его части. Полный запрет упоминать и в корреспонденциях с театра войны названия участвовавших в том или ином бою частей, равно как фамилий военачальников, привел к тому, что корреспонденции эти утратили всякий интерес и вскоре совсем прекратились. Действительно, какой интерес могло представить описание военных действий, происшедших неизвестно где и [с] обозначенными X и Y частями и военными начальниками. Запрет этот, по существу, вовсе не оправдывался: немцы, несомненно, всегда знали, какие русские части против них действовали, знали и каких военачальников они имели против себя. Между тем умалчивание всяких имен привело и к другому, а именно что война не создала ни одного народного героя. Я припоминаю Русско-турецкую войну 1877—1878 гг., когда имена Скобелева и моего покойного отца гремели по всей России. Народ нуждается в идолах — это приподнимает его, создает в нем веру в свою мощь и в свой успех. Скажут, война не выдвинула у нас героев. Но ведь героев всегда создать можно. Не замалчивать имена военачальников, а, наоборот, всячески их расшуметь — вот что нужно было для поднятия интереса к войне у населения и укрепления его веры в успех. Екатерина это так же хорошо понимала, как и Наполеон. Разве все екатерининские орлы и наполеоновские маршалы, облеченные громкими титулами, были в действительности исключительными людьми, но одно их прославление создавало атмосферу героизма и пафоса.

Возобновленная в начале ноября на несколько дней сессия законодательных учреждений прошла вяло. Рассмотрение государственного бюджета утратило всякий смысл, так как в нем заключались лишь обязательные государственные расходы в размере предшествующего года, все же исполинские расходы, связанные сколько-нибудь с войной, проходили помимо бюджета и законодательных учреждений и ассигновывались в порядке управления. Мало-мальски важных законопроектов также не поступало, и все сводилось к посильному подъему общественного настроения. В Государственной думе это до известной степени удавалось, но в Государственном совете более чем когда-либо выявились его мертвенность и старческое бессилие.

С начала 1915 г. стали понемногу распространяться тревожные слухи о недостатке на фронте снарядов и даже ружей, но слухи эти представителями военного ведомства, а в особенности Главного артиллерийского управления, начисто отрицались, и в сферах Государственного совета склонны были их приписывать русской, легко впадающей в пессимизм впечатлительности.

Заговорили в это время и о хищениях, происходящих будто бы в заготовительных ведомствах. Действительно, то ведомство, которое с давних пор этим славилось, а именно морское, также охваченное в начальный период войны патриотическим порывом, по общим отзывам прекратившее всякие поборы при заключении крупных контрактов, недолго выдержало эту марку. Из уст в уста передавались случаи циничного взяточничества со стороны лиц, стоявших по своему положению очень близко к самым верхам Морского министерства. Все это, разумеется, волновало парламентские круги, а дойдя до массы населения, уже превращалось в сплошной кошмар. Вызывал общественное негодование и такой мелкий сам по себе факт, как появление на улицах Петербурга автомобилей с разъезжающими в них дамами, среди коих были заведомые кокетки, тогда как все частные автомобили были реквизированы для военных надобностей. «Так вот для чего понадобилось отнимать у частных лиц автомобили», — говорила публика, а тем более собственники, у которых отобрали автомобили. Последовало со стороны военного управления запрещение должностным лицам, коим были предоставлены автомобили для надобностей службы, катать в них дам, но распоряжение это, с одной стороны, лишь подтверждало факт незаконного ими пользования, а с другой — соблюдалось весьма относительно. Катающиеся кокетки исчезли, но жены должностных лиц, снабженных казенными автомобилями, все же продолжали ими пользоваться. Значения это, разумеется, не имело, но некоторый соблазн все же творило. В начавшие разгораться страсти это был приток поводов к растущему недоверию и озлоблению, истинная причина которых была, разумеется, иная, а именно — неудовлетворительные известия с фронта.

Наконец приблизительно к марту месяцу начал обнаруживаться в Петербурге недостаток угля для надобностей многочисленных работавших на оборону фабрик и заводов. В мирное время уголь в Петербург прибывал почти исключительно из Англии на пароходах, которые обратным фрахтом вывозили хлеб, прибывавший в Петербург по Мариинской водной системе. С закрытием Петербургского порта уголь пришлось провозить в Петербург из Донецкого бассейна, что составляло совершенно новую задачу для нашего железнодорожного транспорта, перенапряженного без того необходимыми перевозками на фронт и продовольствия, и боевого снаряжения. Между тем усиленный подвоз к Петербургу безусловно необходимого угля отражался на подвозе продовольствия, и цены на некоторые предметы питания начали понемногу подниматься. Именно в это время группа членов Государственного совета задумала образовать экономическое совещание, посвященное рассмотрению текущих вопросов экономики. Заключение совещания вместе с подробной разработкой вопросов, к которым они относились, полагалось передавать на усмотрение правительства. Председателем совещания был избран бывший министр земледелия А.С. Ермолов, а в состав его вошли все члены Государственного совета, интересующиеся экономикой, и в том числе все члены, избранные торгово-промышленной средой.

Но тут произошло нечто совершенно невероятное. Не успело это совещание закончить рассмотрение первого поставленного на очередь вопроса, а именно о способах увеличения добычи угля и облегчения доставки его в Петербург, как было правительством закрыто. Между тем вопрос этот был рассмотрен весьма тщательно и подробно при ближайшем участии члена Государственного совета Н.Ф. Дитмара, бывшего одновременно председателем работавшего в Харькове Постоянного совета горнопромышленников Юга России и, следовательно, близко знакомого с положением Донецкого угольного бассейна.

Чем было вызвано это нелепейшее распоряжение, понять невозможно, но факт в том, что в самый день, назначенный для доклада выработанных предположений более широкому кругу членов Государственного совета, председатель комитета А.С. Ермолов был вызван к председателю Государственного совета, и там ему было объявлено, что вне сессий законодательных учреждений члены Государственного совета не имеют даже права входить в здание Мариинского дворца и что возглавляемый им комитет должен немедленно прекратить свои собрания и занятия.

Из всех запретительных мер, принимавшихся в то время правительством, это едва ли не самый яркий пример придирчивости к не только абсолютно безвредным, но даже к способным принести реальную пользу проявлениям общественной деятельности. Итак, с одной стороны, передавали сотни миллионов рублей в бесконтрольное расхищение лиц, к которым не без

основания питали недоверие, а с другой, запрещали смиреннейшим членам Государственного совета собираться под эгидой долголетнего царского министра для обсуждения вопроса, никакого отношения к политике не имеющего.

Всякая революция идет сверху, и наше правительство в годы войны превратит в хулителей если не строя, то, по крайней мере, лиц, стоявших у власти, и их приемов управления самые благонамеренные элементы страны.

Распространяясь все расширяющимися концентрическими кругами, критика правительственной деятельности захватывала все более широкие слои, причем по пути, разумеется, обволакивалась рядом никогда не бывших фактов, подчас самого фантастического свойства.

Правительство при этом в смысле воздействия или хотя бы стремления к воздействию на общественное мнение было определено в нетях. Председатель Совета министров Горемыкин ничем не проявлял свое существование у кормила власти. К природному его отвращению ко всякой действительности присоединилась к этому времени старческая немощность. Поселившись в огромном, приобретенном им для председателя Совета министров доме на Моховой, он в нем заперся и, кроме своих ближайших коллег по Совету министров, решительно никого не видел. По-прежнему, как во время Первой Государственной думы никакого общения с членами законодательных палат он не имел. Правда, отдельные члены Государственной думы у него бывали, но в весьма ограниченном числе, и среди них чаще всего его свойственник по жене П.Н. Крупенский. Этот юркий тип, столь прославившийся в дни Временного правительства вследствие обнаружения в делах департамента полиции, что он получил из этого департамента 20 тысяч рублей, — факт, который он не смог отрицать, почему и был вынужден сложить с себя звание депутата, — был вообще за все время существования Государственной думы, избранной по положению 3 июня 1907 г., каким-то не то посредником, не то на обе стороны передатчиком и соглядатаем между правительством и нижней законодательной палатой. Роль этого господина была вообще недвусмысленно двойственная. Мастер закулисных разговоров и шептаний, он умел каким-то образом то объединять, то разъединять различные группы Государственной думы, несомненно действуя при этом в постоянном контакте с правительством и соответственно полученным от него указаниям. Впрочем, правительству он служил тоже постольку поскольку. Специализировался же он на образовании политических клубов, по-видимому извлекая из этого и личные материальные выгоды, так как клубы эти организовывались на казенные средства. Впрочем, ему удалось получить большие суммы и из банковских и торгово-промышленных сфер при организации и устройстве им уже во время войны так называемого

экономического клуба в обширном нанятом им помещении на Мойке у Царицына луга.

Сведениями, приносимыми этим типом, и довольствовался Горемыкин, относясь, по существу, отчасти презрительно и во всяком случае равнодушно к законодательным палатам и придавая вообще мало значения творящемуся в них.

Однако в течение зимы 1914—1915 гг., а именно в феврале 1915 г., Горемыкин почему-то решил устроить торжественный раут специально для членов Государственной думы и Государственного совета, что должно было, по-видимому, означать, что он не чуждается их, а, наоборот, желает установить добрые с ними отношения.

На деле раут этот обратился в нечто необычайно нелепое. На приглашение Горемыкина члены крайнего левого крыла Государственной думы, разумеется, не откликнулись, но почти все остальные члены обеих палат сочли долгом на нем появиться. Составилась огромная толпа, которая заполнила почти до отказа все комнаты занимаемого Горемыкиным дома, даром что они были лишены почти всякой мебелировки, — вся обстановка дома была еще до войны заказана в Италии и, ввиду прекращения вследствие войны сообщения с этой страной, так оттуда никогда вывезена не была. Сам Горемыкин при этом как-то затерся в этой толпе, а затем вскоре спустился в нижний этаж, где находился его кабинет и куда проникло лишь несколько лиц, личных знакомых хозяев дома. Продолжался раут весьма непродолжительное время — съехавшиеся, потолкавшись немного, почти все одновременно, гуртом, уехали. Осталось лишь несколько министров и лиц, ближе знавших Горемыкина. Между тем ко времени разъезда гостей получено было известие о нашем отступлении в Августовских лесах и о больших понесенных нами при этом потерях⁸. Тут произошла сцена, глубоко врезавшаяся мне в память. На обширной верхней площадке парадной лестницы, потный, усталый, сидел весь сгорбленный Горемыкин. Перед ним стояли министры Кривошеин и Рухлов и еще несколько лиц; они оживленно обсуждали полученное известие, вызывавшее немалую тревогу. Горемыкин не принимал в этом разговоре никакого участия, относясь к его предмету, по-видимому, совершенно безучастно, но внезапно он как будто немного оживился и, подняв опущенную голову, несколько раз подряд произнес следующую фразу: «N'est-ce pas que c'est tres spacieux ici?» Была ли это хитрость, которой он отнюдь не был чужд, употребленная им для отвлечения разговора от неприятной темы, или желание иным способом сказать столь привычную ему фразу «Все пустяки», сказать не могу, но на присутствующих это произвело впечатление проявления старческого слабоумия.

Одно было несомненно: спокойный, рассудительный, но способный в нужные минуты на всякие решительные шаги И.Л. Горемыкин 1906 г., т.е. времени Первой Государственной думы, перестал существовать; остался жить слабый старик, способный в лучшем случае на маленькие хитрости чисто детского свойства, но жадно цепляющийся за власть или, вернее, за те материальные блага, которые она доставляет.

Глава 2 Второй период войны (летние месяцы 1915 г.)

Наше отступление в феврале 1915 г. в Августовских лесах, сопровождавшееся захватом германцами пограничной полосы при станции Вержбо-лово, было едва ли не первым событием на фронте, вызвавшим в общественных кругах серьезные опасения за благоприятный исход войны. Тогда же достигли Петербурга и первые определенно тревожные слухи о недостатке на фронте орудийных снарядов и ружейных патронов.

Предпринятое движение наших войск на Карпаты, имевшее поначалу характер победоносного шествия, наконец, падение в марте месяце австрийской крепости Перемышль успокоили, однако, общественность. Словом, до мая 1915 г., когда стало общеизвестным наше поспешное отступление из Галиции — после прорыва у Дунайца, — истинное положение фронта было мало кому ведомо, а посему мало кого озабочивало. Положение резко изменилось в течение мая. К тому времени выяснилось, что уже в декабре 1914 г. нашим войскам, находившимся на Бзуре¹⁰ и защищавшим подступы к Варшаве, циркуляром штаба Верховного было предписано под страхом отрешения от командования выпускать в месяц не более 60 снарядов на орудие, т.е. фактически ограничиваться в среднем одним выстрелом на утренней и одним на вечерней заре. Начали выплывать и такие, например, факты, что на запрос, сделанный Путиловским заводом еще в самом начале войны, не потребуется ли от него усиленной работы по изготовлению орудий и снарядов, ибо в таком случае завод должен немедленно приступить к соответственному увеличению своего технического оборудования, Главное артиллерийское управление ответило, что никакого усиленного производства от завода не потребуется.

Еще более непонятным был отказ того же управления от заказа снарядов обществу «Пулемет», последовавший уже в ноябре месяце, когда недостаток в них уже остро ощущался и когда Ставка усиленно требовала от военного ведомства увеличения подачи на фронт огнестрельных припасов.

Естественно, что тревога, порожденная нашими неудачами на фронте и усиленная приведенными фактами, привела к резкому обострению общественного недовольства правительством. Произнесенное кем-то грозное слово «измена», как это всегда бывает в моменты общественной тревоги,

электрической искрой пробежало по всем слоям населения и достигло, не без деятельного участия революционных сил, народных низов. Особенное распространение и веру получил этот грозный слух в рабочей среде. Здесь он сразу превратился в боевой лозунг и в законный повод для беспорядков и разнообразных требований.

Заволновались, разумеется, и политические круги. Исходной точкой их похода, если не против правительства как такового, то против наиболее ответственного по условиям времени члена его — военного министра В.А. Сухомлинова, надо признать сенсационный доклад, сделанный в Петербурге приехавшим с фронта лидером оппозиционно настроенной части московского купечества П.П. Рябушинским. В этом докладе Рябушинский сообщил, что на фронте ни орудий, ни снарядов, что целые части не имеют даже ружей и вооружены лишь палками. Сообщение это было сделано в чрезвычайно приподнятом, почти истерическом тоне и заканчивалось призывом к всеобщей работе по изготовлению оружия и боевых припасов.

Поскольку докладчик имел в виду своим сообщением усилить общественное негодование на правительство, но слова его дышали глубоким патриотическим чувством, и впечатление, им произведенное, было огромное. Сообщенные факты тотчас облетели весь город, а затем и всю страну.

Постоянный совет съездов промышленности, финансов и торговли" немедленно созвал съезд всех представителей этих отраслей общественной деятельности, а самый съезд постановил тотчас образовать центральный и множество местных военно-промышленных комитетов в целях мобилизации всей русской промышленности для работы на оборону страны.

Заволновались и лидеры Государственной думы, а ее председатель Родзянко, предварительно заручившись согласием Ставки, возбудил вопрос об образовании особой смешанной комиссии для обсуждения вопросов, связанных с потребностями армии, в состав которой, наряду с представителями власти, вошли бы некоторые члены обеих законодательных палат.

Правительство поняло невозможность в такую тревожную минуту идти против пожеланий общественности и пошло на уступки. Было разрешено образование военно-промышленных комитетов¹² даже со включением в их состав представителей заводских рабочих и невзирая на то, что во главе всей их деятельности был поставлен на съезде промышленности Гучков, личность, к тому времени признанная правительственными верхами нежелательной, была образована, под названием Особого совещания по обсуждению мероприятий по обороне¹³, и комиссия, предложенная Родзянко.

Обе эти организации, а в особенности вторая, сыграли весьма большую роль в деле снабжения армии; их деятельности я намерен посвятить отдельную главу.

Достигла в это время общественность и другой весьма горячо и настойчиво преследуемой ею цели, а именно смены военного министра Сухомлинова и трех других министров, как то: прославившегося своей враждебностью ко всякой общественной деятельности министра внутренних дел Маклакова, получившего известность своим ухаживанием за Распутиным обер-прокурора Св. синода Саблера и усиленно будто нарушавшего судебскую независимость министра юстиции Щегловитова. Смена эта последовала преимущественно вследствие предстоявшего возобновления сессии Государственной думы, но настаивала на ней и, в сущности, решила весь вопрос группа более прогрессивных министров. Группа эта, с Харитоновым во главе, в мае 1915 г. заявила Горемыкину, что с означенными министрами долее служить не желает и просит либо заменить названных лиц другими, либо их самих уволить. Горемыкин доложил об этом государю.

Николай II был этим чрезвычайно недоволен. Общественная возбужденность, которая не могла не отразиться на ходе прений в Государственной думе, вынудила, однако, царя согласиться с протестовавшими министрами. Высшая власть предпочла, чтобы правительство предстало перед задающей тон нижней палатой в обновленном виде, надеясь тем самым смягчить остроту ее нападков.

По отношению к Сухомлинову дело, однако, не ограничилось его увольнением от должности, по настоянию собравшейся 9 июля в летнюю сессию Государственной думы была назначена особая комиссия, со включением в нее представителей законодательных палат, для установления виновников недостаточного снабжения армии. ... превратилась в следственную над деятельностью Сухомлинова и в конечном результате постановила привлечь к уголовной ответственности.

Дело Сухомлинова вызвало в свое время столько шума, а его предание суду настолько содействовало дискредитированию всего существующего государственного строя, что приходится поневоле остановиться на его личности.

В.А. Сухомлинов начал службу в гвардейской кавалерии. Пройдя Академию Генерального штаба, он сразу выделился как блестящий, образованный и вдумчивый кавалерист. Обладая бойким литературным пером и природным юмором, он обращал на себя внимание помещавшимися им в военной газете «Разведчик» талантливыми фельетонами на военные темы, которые он подписывал псевдонимом Остап Бондаренко. Общительный, умевший не

только ладить с людьми, но даже их обвораживать, Сухомлинов быстро прошел первые ступени службы офицера Генерального штаба, был назначен начальником кавалерийской школы, а затем, в сравнительно еще молодые годы, начальником кавалерийской дивизии, штаб которой находился в Харькове. В эту пору он был женат на высоко порядочной, прекрасной женщине, и вся его жизнь, как служебная, так и семейная, проходила в вполне нормальных условиях. Получавшегося им содержания вполне хватало для того образа жизни, который он в то время вел. К его несчастью, жена его вскоре скончалась, а он вслед за тем влюбился в другую женщину, вдову инженера, на которой и женился. Вторая жена Сухомлинова всем своим прошлым принадлежала к богеме. Близкая к театральному миру Харькова, Киева и Одессы, она привыкла проводить время за веселыми ужинами в ресторанах и домашними попойками. Словом, жизнь Сухомлинова со времени его второй женитьбы радикально изменилась. Дом его оказался открытым для самой разнообразной публики. Обеды сменялись ужинами, за которыми вино лилось рекой. Сопряженные с этим расходы далеко превосходили средства хозяев. Денежные затруднения становились все острее, и, надо полагать, уже с того времени он попал в руки людей, ссужавших его деньгами, но одновременно чем-то помимо долговых обязательств его связывавших. Внешним образом это, однако, ни в чем не отражалось на Сухомлинове, и он продолжал делать блестящую карьеру. Казалось бы, что после назначения командующим войсками Киевского военного округа и киевским генерал-губернатором Сухомлинов мог бы при помощи получаемого им по этим двум должностям солидного содержания освободиться от тех темных типов, которые его к тому времени окружали. Произошло, однако, обратное. По мере возвышения служебного положения расходы его не только не приблизились к получаемому им по службе содержанию, а, наоборот, все больше его превышали. В результате зависимость его от разных темных типов увеличивалась. Среди этих типов был в особенности один, с которым он не расставался и который после его назначения сначала начальником Генерального штаба, а вскоре затем военным министром переехал за ним в Петербург и роль которого впоследствии была вполне установлена. Это был австрийский еврей Альтшулер — шпион австрийского генерального штаба. Сухомлинова, в бытность его военным министром, неоднократно предупреждали относительно Альтшулера, точно так же как о подозрительных сношениях с германскими властями Мясоедова, ушедшего из состава жандармского корпуса бывшего начальника жандармского пункта станции Вержболово. Этот последний, имя которого прогремело еще до войны по всей России, из-за его дуэли с Гучковым, обвинявшим его с кафедры Государственной думы в весьма неблагоприятных поступках, настолько сумел втереться в доверие Сухомлинова, что последний, невзирая на упорный отказ департамента полиции принять Мясоедова вновь в состав жандармского корпуса, добился этого через посредство самого государя. Одновременно Мясоедов был откомандирован в распоряжение военного министра, т.е. того же

Сухомлинова. Последующая судьба Мясоедова общеизвестна. Заподозренный во время войны в шпионстве в пользу Германии, он, по решению военно-полевого суда, был приговорен к смертной казни, которая и была над ним совершена.

Этими двумя лицами не ограничивался круг людей, завладевших доверием Сухомлинова и вместе с тем в той или иной степени причастных к военному шпионажу. Был ли, однако, сам Сухомлинов, как это впоследствии утверждали, сознательным пособником этих темных личностей? Это более чем невероятно. Личный интерес Сухомлинова, достигшего поста министра, осыпанного царскими милостями, слишком этому противоречил. Обнаруженные у него после ареста довольно крупные денежные суммы (около 700 тысяч рублей) были все-таки слишком ничтожны. Для того, чтобы усматривать в них оплату его предательства. Это предательство, будь оно в действительности, дало бы ему неизмеримо более крупные, миллионные суммы. Наконец, происхождение обнаруженных у него сумм следствием было выяснено. Источником их была биржевая игра, которую за него вел один из петербургских банков, связанный с различными работавшими на войну предприятиями и желавший таким образом заручиться военными заказами. Само собою разумеется, что это была облеченная в более или менее невинную форму взятка, и в этом Сухомлинов, несомненно, повинен. Причина же была — все те же непомерные траты.

Действительно, после кончины своей второй жены он сошелся с некоей г-жой Бутович. Добившись путем самого невероятного нарушения существовавших по этому предмету правил, ее развода с г. Бутовичем, Сухомлинов на ней женился. Но г-жа Бутович, превратившись в г-жу Сухомлинову, оказалась новым изданием второй жены Сухомлинова. Безумные траты на туалеты с частыми поездками за ними в Париж, а в особенности открытый для всех званых и незваных роскошный стол вызывали огромные расходы, которых не могли покрыть ни получавшееся Сухомлиновым удвоенное по Высочайшему повелению министерское содержание, ни весьма значительные прогонные деньги по специально предпринимаемым им служебным поездкам в столь отдаленные края, как Туркестан и Владивосток. Пришлось прибегнуть еще и к взяткам, но и тут все же в форме как будто невинной, а именно биржевой игры, которую вел за него без всякого риска для Сухомлинова банк.

Да, для получения весьма крупных сумм Сухомлинову не было никакой надобности продавать родину и идти на сопряженный с этим безмерный риск. Предателем и изменником Сухомлинов не был. И тем не менее факт его окружения патентованными шпионами неопровержим. Объясняется это, надо полагать, невероятным природным легкомыслием Сухомлинова. В шпионство Альтшулера и Мясоедова Сухомлинов не верил и притом никаких секретных сведений им, конечно, не передавал, но по каким-то

тайным причинам, приведшим, между прочим, к дружбе его третьей жены — ех Бутович — с женой Мясоедова, не желал официально выяснить, что именно представляли эти люди. Что же касается Альтшулера, то нужные ему для оправдания своей деятельности перед австрийским Генеральным штабом сведения он, несомненно, мог получать от одной близости к военному министру. Этому в высшей степени содействовало одно из свойств Сухомлинова, а именно неумение хранить в тайне какой-либо секрет. Наоборот, у него была какая-то неудержимая потребность всякое секретное сведение кому-либо разболтать.

Словом, Сухомлинов был весьма плохой министр в военно-научном отношении, оставшийся на уровне тех военных знаний, которые он вынес в конце 80-х годов прошлого века из Академии Генерального штаба, ибо с годами он обленился и за движением военной науки совершенно не следил.

Более чем неразборчивый в добывании денежных средств, он был, кроме того, преступно легкомыслен и, наконец, даже давал возможность окружающей его темной компании извлекать из себя сведения, касающиеся обороны государства, но все же сознательным, активным, а тем более продажным изменником он не был.

Предание Сухомлинова суду было, во всяком случае, одним из выдающихся русских событий периода мировой войны. Насколько это было тактически правильным — вопрос спорный. В то время как оппозиционные элементы этого всячески добивались в интересах как отвлеченной справедливости, так и очернения существующего строя, правые эту меру определенно порицали. Они говорили, что во время войны скандальный процесс, раскрывающий все наши военные недочеты, не исправит этих недочетов, а лишь подрывает веру и войска, и всего населения страны в конечный успех войны.

Как бы то ни было, увольнение Сухомлинова было столь же приветствовано общественностью, как и назначение на его место А.А. Поливанова. Партия кадетов, которая оказывала наибольшее влияние на формирование общественного мнения, считала Поливанова более или менее своим человеком. С Гучковым Поливанов был в личных дружеских отношениях. Правда, правые не доверяли лояльности Поливанова и предпочли бы видеть на посту военного министра более близкое им лицо, но определенного кандидата они не имели и поэтому мирились с Поливановым.

Как военный министр Поливанов был неизмеримо выше Сухомлинова. Знающий, серьезный, работающий, хорошо знакомый со всем аппаратом военного ведомства, он относился к возложенным на него обязанностям с полной добросовестностью. Уменье ладить с законодательными палатами было несомненным его большим плюсом.

Увы, как человек Поливанов оказался впоследствии достойным полнейшего презрения, но выяснилось это только после революции, оказавшейся для многих весьма неблагоприятным оселком. В качестве председателя учрежденной при Временном правительстве комиссии по выработке «прав солдата» Поливанов не только не сумел дать работе комиссии такое направление, при котором была бы в должной мере сохранена воинская дисциплина, но присоединил и свой голос к проекту, при осуществлении которого армия неминуемо превращалась в разнузданную, бесчинствующую толпу. Последнее, как известно, и произошло после утверждения означенного проекта Керенским, заменившим ушедшего Гучкова.

Назначение Поливанова была явной уступкой общественному мнению; так оно и было понято парламентскими кругами, тем более что оно сопровождалось назначением на место уволенных Маклакова и Саблёра двух лиц, избранных из среды общественности, а именно кн. Н.Б. Щербатова, поставленного во главе Министерства внутренних дел, и А.Д. Самарин...

Оба эти лица пользовались прекрасной репутацией.

Самарин, московский губернский предводитель дворянства, принадлежал ко всеми уважаемой славянофильской семье. Про него было известно, что он ни на какие компромиссы не пойдёт и что при нем Распутин, о влиянии которого к тому времени говорила уже вся Россия, вмешаться в церковные дела не будет в состоянии!

Весьма правые убеждения Самарина были, разумеется, неприемлемы для оппозиции, но принадлежность его к общественным кругам, а в особенности тот ореол нравственной чистоты, который окружал его имя, не давали возможности критиковать его включение в ряды правительства.

Кн. Н.Б. Щербатов был известен как выдающийся сельский хозяин, сумевший в качестве председателя полтавского сельскохозяйственного общества придать деятельности этого общества исключительную плодотворность. Полтавский губернский предводитель дворянства, а затем член Государственного совета по избранию полтавского земства, Щербатов был назначен еще до войны главноуправляющим Государственным коннозаводством и на этом месте, по отзывам специалистов, сумел дать порученному ему делу новую и весьма разумную постановку.

Чрезвычайно приятный в общении и мягкий в обращении как с равными, так и с подчиненными, Щербатов принадлежал к числу тех довольно редких людей, «которые имеют множество друзей и ни одного врага».

Прямой, честный, принявший Министерство внутренних дел с величайшей неохотой, вполне постигавший, что русские культурные круги — дворянские и земские — отнюдь не революционны и что самая их оппозиционность — результат длительного недоразумения, он, казалось, был вполне на месте, занимая пост министра внутренних дел.

Увы, на практике ни Самарин, ни в особенности Щербатов не оказались на высоте положения данного момента. Русский бюрократический слой имел, разумеется, свои недостатки, но обладал все же знанием административной техники. Самарин и Щербатов были дилетанты, и этот их дилетантизм сказался очень скоро.

Щербатов решил «почистить» губернскую администрацию и ради этого сменил множество старых губернаторов, заменив их. Но эти последние, превратившиеся в бюрократов, тотчас впитали все недостатки бюрократии, не восприняв, однако, ее технических навыков. Не проявил Щербатов и той энергии, той силы воли, без которых власть перестает быть властью и становится игрушкой разнообразных общественных течений.

...отвечало общественному желанию и увольнение министра юстиции Щегловитова, прославившего за искажителя судебных, уставов императора Александра заменивший его Александр Алексеевич Хвостов общественности был мало известен, но в судейских кругах пользовался всеобщим уважением.

Словом, личный состав Совета министров летних месяцев 1915 г. никаких нареканий вызывать не мог.

Увольнение Сухомлинова, Маклакова, Щегловитова и Саблера было еще не последним актом царской воли, принятым не под влиянием Распутина и не только не по настоянию императрицы, а, наоборот, против ее желания.

Выбор новых лиц взамен уволенных произошел по стовору Ставки с имевшим в то время наибольшее влияние у царской четы Кривошеиным. Выбор Поливанова принадлежал преимущественно Ставке, а выбор Самарина и Щербатова — Кривошеину. Хвостова провел Горемыкин, бывший с ним в давних дружеских отношениях.

Сам Кривошеин видел в произведенной частичной смене членов Совета министров предварительный шаг для смены самого председателя Совета министров — Горемыкина. В представлении Кривошеина новые члены Совета министров должны были скоро убедиться в невозможности сохранения во главе правительства престарелого кунктатора, с годами все менее считавшегося с новыми условиями политической жизни страны. Дело в том, что Кривошеин уже в начале 1915 г. пришел к убеждению, что при наличии во главе Совета Горемыкина правительство не в силах развить ту деятельность, которая по энергии и решительности соответствовала бы

сложным и разнообразным требованиям, предъявляемым современными событиями к правительственному аппарату.

Стремясь одновременно, как всегда, к возможному смягчению антагонизма между «мы» и «они», между бюрократией и общественностью, Кривошеин мечтал образовать такой правительственный синклит, который заключал бы сколь можно больше лиц из общественной среды. Озабочивался он привлечением на сторону правительства и московской купеческой среды, причем намечал на должность министра торговли московского крупного фабриканта, пользовавшегося большим влиянием среди московского купечества Г.А. Крестовникова.

Естественным преемником Горемыкина он, разумеется, почитал самого себя. Это с давних пор имел в виду и государь, но в последнюю минуту Кривошеин, по-видимому, испугался огромной принимаемой им на себя ответственности и сам убедил государя образовать министерство военного времени, поставив во главу его военного министра, с тем чтобы фактически все гражданское управление состояло в ведении его, Кривошеина, с присвоением ему звания вице-председателя Совета. Это была крупная тактическая ошибка. Государь определенно не любил генерала Поливанова и к нему не питал доверия; весьма вероятно, что это было одной из причин охлаждения государя к Кривошеину и отказа от мысли заменить кем бы то ни было Горемыкина, в безусловную преданность которого государь не без основания твердо верил.

Однако причина эта была второстепенная. Последующие изменения в составе Совета министров произошли по иным причинам. и вдохновителем их был Распутин.

Ранее, нежели перейти к изложению начала той драмы, которая закончилась трагическим крушением старой русской государственности, необходимо, хотя бы вкратце, описать связанные с войной события, ознаменовавшие июль и август 1915 г. В течение этих месяцев наши дела на фронте, сильно пошатнувшиеся уже в мае, становились все хуже и хуже. Общественная тревога, возрастая по мере все большего отступления нашей армии в глубь страны, достигла апогея приблизительно к половине июля, когда мы оставили, сдав их без боя, Брест-Литовск и Гродно и когда в столице заговорили о возможности ее захвата неприятелем и даже были приняты меры для постепенной эвакуации имеющихся в ней художественных сокровищ.

Удивляться охватившей общественность тревоге не приходится. Эту тревогу испытывало, едва ли не в большей степени, правительство.

«Считаю своим гражданским и служебным долгом заявить Совету министров, что отечество в опасности» — так начал свое сообщение о нашем

положении на фронте генерал Поливанов в заседании Совета 16 июля 1915 г. Вслед за тем он нарисовал ужасающую картину положения русской армии: «В войсках все возрастает деморализация. Дезертирство и добровольная сдача в плен приняли грозные размеры. Немцы нас гонят одной артиллерией, пехота даже не наступает, ибо против огня неприятельской артиллерии мы, лишенные снарядов, устоять не можем. При этом немцы не страдают вовсе, а наши гибнут тысячами».

Сообщение это, кстати сказать, сильно преувеличенное, естественно, приводит Совет министров в ужас.

Волнение, испытываемое Советом министров, было тем большее, что к этому же времени обнаружилось и другое крайне тяжелое явление, а именно то расстройство, которое вносила не только в ближайший, но и в более отдаленный тыл отступающая армия.

Расстройство это, неизбежное при всяких отступлениях, увеличивалось до крайности полным разладом между действиями гражданской власти и распоряжениями Ставки, пользовавшейся, на основании положения о полевом управлении войск, неограниченной властью в пределах местностей, причисленных к театру военных действий. Упомянутое положение было составлено в том предположении, что во главе войск находится сам император, что Николай II всегда имел в виду и от чего отказался по настоянию министров лишь на третий день начала войны. Тем временем к местностям, подчиненным Ставке, были отнесены не только весьма обширная тыловая полоса армии, но и самая столица империи. Центр управления оказался подчиненным часто сменяющимся второразрядным военачальникам (лучшие получали назначения на фронте). Эти воеводы, ввиду присвоенных им чрезвычайных полномочий, с места вообразили себя владыками и разговаривали с правительством, как с заносчивым подчиненным, нередко проводя собственную политику в вопросах внутренней охраны, в отношении печати, рабочего вопроса и общественных организаций. Петербургский градоначальник оказался подчиненным начальнику Петербургского военного округа и министру внутренних дел докладывал лишь то, что сам признавал нужным.

Такое положение вещей не могло не отражаться на ходе дел, тем более что Ставка не только в полной мере с места использовала свои чрезвычайные полномочия, но присвоила себе диктаторские замашки.

Естественно, что вопрос о взаимоотношениях власти общеимперской и власти Ставки составлял предмет частых и длительных суждений Совета министров. Жаловались на башибузукский способ действий военных тыловых властей все министры.

Животрепещущую картину дал в этом отношении Совету министров в половине июля министр внутренних дел.

Начальник штаба Верховного — генерал Янушкевич, по словам Щербатова, равно как непосредственный начальник северо-западного тыла генерал Данилов, именуемый «рыжим» (в отличие от генерала Данилова «черного», занимавшего должность генерал-квартирмейстера штаба Ставки), присвоили себе диктаторскую власть, которою преисполнялись и все их подчиненные, до прапорщиков включительно. Гражданские власти вынуждаются исполнять самые нелепые распоряжения. «Невозможно разобраться, — говорил кн. Щербатов, — чьи приказания и требования следует исполнять. Сыпятся они со всех сторон, причем нередко совершенно противоположные. На местах неразбериха и путаница невообразимые, при малейшем возражении гражданских властей — окрик и угрозы, чуть не до ареста включительно. При этих-то условиях происходит спешное отступление войск, сопровождаемое бегством местного населения, отчасти добровольным, но преимущественно принудительным по распоряжению тех же военных властей».

Сообщение Щербатова вызвало горькое замечание Кривошеина: «На фронте бьют нас немцы, а в тылу добивают прапорщики».

Еще более тяжелую, душу ледящую картину получили господа министры в последующих заседаниях Совета, причем дело касается преимущественно положения беженской толпы, достигающей десятков и сотен тысяч людей. Гонят эту толпу распространяемые слухи о необычайных зверствах и насилиях, чинимых немцами, но главную ее массу составляет население, выселяемое по приказу военных властей в целях обезлюдения местностей, отдаваемых неприятелю.

Толпа эта чрезвычайно озлобленная. Людей отрывают от родных гнезд, давая на сборы несколько часов. У них на глазах сжигают оставляемые ими запасы, а нередко и самые жилища. Психология подобных беженцев понятна. Степень озлобленности против властей безгранична, а страдания беспредельны.

Вся эта раздраженная, измученная, а в большинстве своем голодная толпа сплошным потоком катится по всем путям, мешая военным передвижениям и внося в тыловую жизнь полнейший беспорядок. Тащатся за нею повозки, нагруженные домашним скарбом; напоить, накормить, согреть все это множество невозможно. Люди сотнями мрут на дороге от голода, холода и болезней. По сторонам дороги валяются непогребенные трупы. А в то время как десятки тысяч тянутся вдоль железнодорожного полотна, мимо них проходят поезда, нагруженные разным хламом, вплоть до клеток с канарейками птицелюбивых интендантов.

Широкой волной разливается беженская толпа по всей России, усугубляя тягости военного времени, создавая продовольственные, квартирные и иные кризисы.

По словам Кривошеина, сказанным в заседании Совета 4 августа, «беженская масса, идя сплошной стеной, топчет хлеб, портит луга, истребляет лес. По всей России расходятся проклятия, болезни, горе и бедность. Голодные и оборванные беженцы всюду вселяют панику. А за ними остается чуть ли не пустыня. Не только ближайший, но и глубокий тыл армии опустошен и разорен».

Особенно острый характер принял этот вопрос к половине августа, когда до сведения Совета дошло, что в Ставке разрабатывается проект расширения тыловой полосы до линии Тверь—Тула, а главнокомандующий Южным фронтом генерал Иванов собирается очистить прифронтовую полосу на сто верст в глубину страны от всякого обитающего его населения, да кстати эвакуировать и Киев.

В Совете указывается, что поголовное выселение населения с уничтожением имущества и всеобщим разорением недопустимо со всех точек зрения. К тому же выселение производится грубо. Раздраженные крестьяне вооружаются, чтобы охранять свое имущество. Разрушаются фабрики и заводы с запасами сырья и продуктов, к вывозу которых не принимается никаких мер.

«Нельзя давать центральные губернии на растерзание «рыжего» Дани- \ лова с его ордой тыловых героев!» — восклицает кн. Щербатов.

В начале августа, в связи с распоряжением Ставки, перед Советом министров возникает и другой чрезвычайно острый вопрос, а именно как быть с евреями, изгоняемыми нагайками военной власти из всего театра войны, простирающегося, однако, далеко в глубь страны. В евреях, быть может не без основания, Ставка усматривает крайне ненадежный элемент, занимающийся шпионством и даже сигнализирующий неприятелю. Отсюда прибегнуть, однако, к насильственному изгнанию целого племени, даже если в его среде и встречаются отдельные предатели, — решение неожиданное.

Проявляемое военными властями совершенно безобразное отношение к еврейству, недопустимое с точки зрения элементарной гуманности, порождает для нас множество затруднений. Иностранная печать, заграничные еврейские банковские круги возмущены, и в то время, как первые нас разносят на столбцах, вторые угрожают полным прекращением всякого кредита. Между тем без кредита мы воевать не в состоянии. Министр финансов сообщает, что к нему явились банкиры Каминка, Варшавский и Гинцбург¹⁷ и предъявили чуть не ультимативное требование немедленного прекращения столь безобразного гонения их племени.

Положение евреев до крайности осложняется еще и тем, что глубокий тыл им тоже закрыт, так как он вне установленной для них черты оседлости; наплыв евреев ввиду этого в ближайшую к тылу местность столь значителен, что местные жители встречают их местами в колья.

При таком положении вещей Совет министров приходит к заключению о необходимости предоставления евреям права жительства во всех городах империи, за исключением казачьих областей, где ненависть к ним местного населения настолько острая, что может вызвать весьма тяжелые последствия. Исключаются также места резиденций государя императора, что оформляется выражением «местности, состоящие в ведении Министерства императорского двора».

После краткого обмена мнений о способе осуществления этой меры выясняется, что в порядке ст. 87 Основных законов осуществить ее при наличии Государственной думы нельзя, а провести соответствующий закон через Государственную думу — медлительно, а главное, вызовет чрезвычайно нежелательные в данный момент прения, да [и] не известно даже, примет ли столь радикальную меру Четвертая Государственная дума. Совет останавливается на ее осуществлении простым циркуляром министра внутренних дел, основанным на ст. 188 Учреждения министерств, предоставляющей министрам в экстренных случаях издавать распоряжения, нарушающие действующий закон. Это, разумеется, явная натяжка, но при сложившейся обстановке иного исхода нет, и, таким образом, вековой вопрос, вызывавший столько толков, споров и всевозможных нареканий, разрешается простым росчерком пера министра внутренних дел. К приведенному решению приходят все министры, хотя и не без многих оговорок. Остается при отдельном мнении, которого, впрочем, официально не заявляет, ограничившись лишь отказом от подписи соответствующего журнала Совета, министр путей сообщения, коренной горячий русак С.В. Рухлов. «Я не вношу разногласия, — говорит он, — но не могу и присоединиться к этому решению. Вся страна страдает, а льготы получают евреи».

С своей стороны министр торговли кн. Шаховской (единственный в ту пору ставленник Распутина в составе Совета министров) настаивает на разрешении евреям селиться повсеместно, т.е. не только в городах, но и в сельских местностях, но мнение это никем из министров не разделяется.

Между тем положение на фронте не улучшается, а пресловутый Янушкевич занят лишь одним — усиленным возложением ответственности за все происходящее на тыл и на гражданскую власть. Недостаток оружия и снарядов относится им исключительно к вине заготовительных ведомств, совершенно забывая, что о количестве запасов этих боевых средств Ставка знала заранее и тем не менее бросилась в карпатскую авантюру, совершенно

не считаясь с необходимостью беречь снаряды и до времени их должного пополнения расходовать их на отражение неприятеля, а не на расширение линии фронта.

Можно даже предполагать, что не столько надежда, что общественность поможет пополнить недочеты военного снаряжения, сколько стремление обелить себя перед общественным мнением побудило Ставку усиленно ухаживать за общественными организациями в сознании, что общественное мнение создается именно этими учреждениями, а отнюдь не правительством и его агентами.

Но это еще было допустимо. Пошли, однако, значительно дальше. В конце июля месяца Ставка по телеграфу приказала военным цензорам, в руках которых была вся повременная печать, впредь не касаться вопросов, не относящихся до военной тайны. Расчет был столь же прост, как циничен. Военные действия тайна, а потому нас и наших распоряжений печать не должна касаться, ну а правительство можно критиковать сколько угодно. Таким образом, вина за все происходящее силою вещей ляжет целиком на одно правительство, что на деле и произошло.

На невозможность при таких условиях сладить с печатью неоднократно указывал в Совете министров кн. Щербатов, но помощи у него не находил, а сам действовать решительно не имел отваги. Между тем власть министра внутренних дел была все-таки весьма значительна. Ему достаточно было собрать редакторов газет и объяснить им, [что] если подвергнуть их органы предварительной цензуре он не может (хотя и это было возможно осуществить в условиях военного времени; установила же ее республиканская Франция, не говоря уже про другие монархические державы), то выслать их вправе, а потому в случае... и т.п.

Наконец, тот же Янушкевич изобретает уже совершенно чудовищное по мотивам и недействительное по существу средство для восстановления крепости русской армии. В письме на имя Кривошеина он пишет буквально следующее: «Сказочные герои, идейные борцы и альтруисты встречаются единицами... таких не больше одного процента, а все остальные — люди 20-го числа¹⁸. Русского солдата, — продолжает этот своеобразный ценитель русской военной доблести, — надо имущественно заинтересовать в сопротивлении врагу... необходимо его поманить наделением землей под угрозой конфискации у сдающихся». Наделение предполагается Янушкевичем определить в размере от 6 до 9 десятин на воина.

Письмо это вызвало в Совете министров общее и крайнее возмущение. Огульное посрамление русского солдата, лишенного оружия и умирающего тысячами, того русского солдата, выше которого Наполеон не ставил ни одного солдата в мире, и мысль покупкой создать героев доводит министров

до пределов отчаяния. К тому же самая мысль Янушкевича неосуществима: такого количества земли, какое нужно для наделения многомиллионной армии, в империи просто нет. Превращение русской армии в ландскнехтов — вот мысль, которая еще никому не приходила. Кн. Щербатов справедливо замечает, что «никто еще не покупал героев, что любовь к родине и самоотвержение — не рыночный товар». Кривошеин в величайшем волнении восклицает: «За что бедной России переживать такую трагедию. Я не могу больше молчать, к каким бы это ни привело для меня последствиям». В таком же духе высказывается большинство министров.

По поводу всего происходящего в стране Совет неоднократно обращается к монарху с ходатайством о созыве военного совета с участием всего состава для упорядочения отношений между военной и гражданской властью. «Надо постараться открыть царю правду настоящего и опасность будущего», — говорят министры. Одновременно Совет стремится сговориться с начальником Петербургского военного округа генералом Фроловым, которого приглашает с этой целью в свое заседание. Старания его в обоих направлениях безуспешны.

А тем временем военный министр подливает масло в огонь и усиленно разводит панику, доходя до утверждения, что «штаб утерял способность рассуждать и давать себе отчет в действиях. Вера в свои силы окончательно подорвана. Малейший слух о неприятеле, появление незначительного немецкого разъезда вызывает панику и бегство целых полков». Командир сданной им без боя крепости Ковно генерал Григорьев, по словам военного министра, удрал и исчез; его разыскивают для предания военному суду.

С своей стороны кн. Щербатов передает, что «в сумбуре отступающих обозов и воинских частей, вольных и невольных беженцев... происходит какая-то дикая вакханалия. Процветает пьянство, грабежи, разврат. Казаки и солдаты тянут за собой семьи беженцев, чтобы иметь в походе женщин».

Вновь и вновь Совет министров обращается с соответствующими представлениями к государю: власть царя в то время еще всемогуща, но пользоваться ею в порядке действительном он все меньше решается. На мольбы министров о созыве военного совета он отвечает неизменно [одно и] то же: «погодите», «со временем». Сознывая свое слабование, государь, очевидно, опасался, что под напором всего правительственного синклита он вынужден будет принять какое-либо определенное решение, но именно этого он не желал*.

В результате господа министры волнуются, спорят, рисуют безотрадную картину действительности, которую при этом незаметно для самих себя изображают в еще более черных красках, нежели она имеется в действительности, но этим в большинстве случаев и ограничиваются.

Словом, происходит нервное, возбужденное, но совершенно бесплодное топтание на месте. Самарин при этом горячо восклицает: «Неужели же ближайšie слуги царя, им же самим облеченные доверием, не могут добиться, чтобы их выслушали».

Как я уже упомянул, личный состав Совета министров представляет в ту пору в своем преобладающем большинстве людей не только глубоко порядочных, но горячих патриотов, всей душой болевших о России и надвигавшихся на нее тяжелых испытаниях.

* Известный психиатр Карпинский, пользовавший царскую семью, положительно утверждал, что, наблюдая за государем, он пришел к убеждению, что Николай II страдал душевной болезнью, именуемой в медицине негативизмом. Болезнь эта состоит в том, что пациент проявляет в общем сильный упадок воли в отношении противодействия решениям, принимаемым другими лицами даже в делах, касающихся его самого, и проявляет крайнее упорство в смысле отрицательном, а именно отказываясь лично предпринять какие-либо действия в любом направлении. Болезнь эта сопровождается обычно развитием недоверия ко всем лицам, что-либо исполняющим для больного и с которыми он вообще вынужден иметь дело.

Разумеется, не все министры были людьми исключительного ума и талантов. Так, Сазонов был человеком весьма упрощенного способа мышления, для него все вопросы были ясны, и всей сложности мировой обстановки и внутреннего положения России он определенно не постигал. К тому же России, как большинство наших дипломатов, он не знал и был, кроме того, заражен нетерпимым для русского министра иностранных дел англофильством.

Кн. Щербатов не обладал ни административным опытом, ни, тем более, той железной волей, без которой в то время Россией управлять нельзя было. Его мягкость неоднократно становилась ему в упрек Советом министров, но, конечно, безрезультатно: мягкого, в высшей степени деликатного человека, каким был Щербатов, в твердого борца никак не превратишь.

Наибольшей рассудительностью и хладнокровием отличался, несомненно, председатель Совета Горемыкин. Он не утрачивал ни при каких условиях ни спокойствия, ни уравновешенности, но необходимой действенности в нем не было, причем он совершенно не учитывал общественной психологии. Зато его природное отвращение к активной борьбе с каким-либо злом и необыкновенное умение сводить всякий вопрос на нет в высшей степени содействовали безрезультатности длительных суждений Совета министров.

Еще более существенной отрицательной чертой Совета министров того времени была недостаточная сплоченность в политическом отношении составлявших его членов.

С одной стороны, входили в него, составляя его левое крыло, такие люди, как П.А. Харитонов и С.Д. Сазонов, определенно гнувшие на всевозможные уступки общественности, а с другой, в его среде имелись такие крайние по своим убеждениям сторонники исключительного бюрократического правления, как С.В. Рухлов и Александр Алексеевич Хвостов. Оба они общественности совершенно не доверяли и во всех ее заявлениях и действиях усматривали лишь стремление свергнуть существующий государственный строй. К ним же в полной мере примыкал и председатель Совета. От некогда бывшего либерала в нем ничего не осталось, но зато усилилась глубокая преданность царю, которого он всячески стремился оберечь от всяких волнений и огорчений.

Вместе с этим лишен был Совет министров всякой возможности воздействовать на отдельных своих членов. Министры назначались и увольнялись государем лишь после формальной беседы с председателем Совета. Словом, объединенного правительства по-прежнему не было, не было единой, направляющей деятельность министров воли и мысли.

Однако главная причина бессилия Совета министров крылась в другом, и министры сознавали ее в полной мере. Причина все в том что Сазонов однажды определил словами: «Правительство висит на воздухе, не имея опоры ни снизу, ни сверху».

Действительно, в глазах общественности и даже широких слоев населения, в обыкновенное время вовсе не интересующихся политикой, правительство утратило всякое обаяние; не пользовалось правительство доверием его избравшего источника власти. Между тем без этого доверия правительство обойтись не могло, тем более что при создавшемся двоевластии многое оно могло осуществить только при согласии и деятельном содействии самого императора, но ни этого согласия, ни тем более содействия оно добиться не было в состоянии.

При таких условиях окончательный развал представлялся неизбежным. Министры это сознавали и, не видя средств предотвратить надвигающуюся катастрофу, естественно, приходили в отчаяние.

Творящимся на фронте и в подчиненном военной власти тылу не ограничивались заботы и тревоги правительства. Вызывало его живейшее беспокойство и усиливающееся в стране общественное волнение.

Действительно, к этому времени наблюдалось то же самое, что происходило под конец войны с Японией, когда консервативные круги, охваченные

патриотической тревогой, объединились с кругами оппозиционными как в усиленной критике деятельности правительства, так и в огульном недовольстве. Выросшие на этой почве общественные домогательства, естественно, не могли почитаться за действия революционные, и принять против них репрессивные меры — правительство это признавало — не было возможности. Между тем под покровом тех же будто бы патриотических побуждений революционные силы действовали в определенно разрушительных целях. Отделить одних от других, различить, чьи домогательства вызваны тревогой за родину, а чьи направлены к разрушению существующего строя, было в высшей степени затруднительно. К тому же всякая мера, принятая против революционеров, коль скоро они свою деятельность покрывали патриотическим флагом, неминуемо принимала в глазах всей общественности одиозный характер лишения гражданских прав и возможности работать на пользу государства. Так это было и с общеземским союзом, агенты которого занимались усиленной пропагандой на фронте и в тылу, так это было и с Государственной думой, где произносились речи ультрапатриотического содержания, но в существе превращавшиеся в тараны, вдребезги разбивающие авторитет и обаяние власти.

Между тем тождественная по виду, но стремящаяся к противоположным целям работа патриотов, с одной стороны, и революционеров, с другой, принимала все более широкий размах и приводила к тяжелым результатам.

Так, уже в начале августа в Москве возникли, опять-таки на патриотической почве, уличные манифестации, вскоре выродившиеся в беспорядки, усмирение которых сопровождалось пролитием крови. Серьезные беспорядки произошли приблизительно в это время в Иваново-Вознесенске, где рабочие предъявили ряд требований, будто бы основанных на недостаточном использовании заводов для работы на оборону страны". Прекращенные при помощи войск беспорядки эти вызвали множество жертв — 16 убитых и свыше 30 раненых. Беспорядки были вызваны революционными силами, ловко пользовавшимися для усиления брожения в рабочей среде такими лозунгами, как забота о государственной безопасности; борьба с ними представлялась крайне трудной.

Беспокойство правительства по поводу усушившегося народного брожения тем более понятно, что министр внутренних дел уже 11 августа 1915 г. определенно заявил Совету, что бороться с растущим революционным движением он не в состоянии, так как ему отказывают в содействии войск для подавления беспорядков, причем ссылаясь на неуверенность в возможности заставить войска стрелять в толпу.

«Ряды полиции редуют, — говорит кн. Щербатов, — а население ежедневно возбуждается думскими речами, газетным враньем, безостановочными поражениями на фронте и слухами о беспорядках в тылу».

К этому вопросу Совет министров возвращается неоднократно. Так, в течение того же августа кн. Щербатов указывает, что положение в Москве серьезное: «Войска нет, всего одна сотня казаков да один запасный батальон в 800 человек, наполовину ежедневно занятый содержанием караулов. На окраинах имеются две ополченские дружины, неверные. Зато в городе находится до 30 тысяч выздоравливающих от поранений нижних чинов. Народ это буйный, вольница, безобразничающая и дисциплины не признающая. В случае беспорядков эта орда станет на сторону толпы». Не лучше положение и в Петербурге, где уже происходили шумные забастовки на Путиловском и металлическом заводах.

Тут поневоле приходится сделать небольшое отступление и сказать: поистине права латинская пословица, гласящая: *Quos vult perdere Jupiter dementat*. Как, уже в августе 1915 г. правительство и главный блюститель внутреннего порядка — министр внутренних дел — знали, что в стране растет революционное движение, а что в распоряжении власти нет ни малейшей силы для подавления надвигающихся, по их же утверждению, народных волнений, и в течение последующих лет, протекших с того времени, до вспышки революционного бунта в Петербурге, не приняли никаких мер для получения такой силы в свое распоряжение? Как назвать такой образ действия, или, вернее, бездействия, и чем объяснить, если не ниспосланным на них всевышним лишением разума. Отвлечь от фронта какие-нибудь десять тысяч войска, расквартировать их по главным административным и промышленным центрам и там подчинить их той воинской дисциплине, от которой они на фронте силою вещей отвыкли и при которой войска неизменно превращаются в послушное оружие командного состава, — ведь это было столь же легко, как до самоочевидности необходимо.

Солдатские бунты возникали почти во всех государствах, принимавших участие в мировой войне. Правительства западных государств это предвидели и приняли соответствующие меры. Так, в Германии был создан специальный союз молодых людей из буржуазии, получивший соответственное обучение и вооружение, и именно этот союз справился с весьма серьезным матросским бунтом, вспыхнувшим в Киле еще в 1915 г. Так, Италия, невзирая на большую затруднительность для ее тогдашнего правительства свободно распоряжаться даже малейшей частью ее боевых сил, не задумалась с той же целью снять с фронта значительную часть своей кавалерии, сосредоточить ее в глубине страны и там вновь спаять той железной дисциплиной, которую воинские части, участвующие в боевых действиях, понемногу утрачивают. Мера эта оказалась далеко не лишней, настолько, что именно она спасла Италию от ниспровержения ее государственного строя. Не получившая широкой огласки революционная вспышка начала 1917 г. в Милане, настолько удачная, что там в течение шести дней действовало организованное революционными силами

республиканское правление, была подавлена именно упомянутой кавалерией, причем было убито несколько тысяч повстанцев.

Наше правительство до этих предупредительных мер не додумалось либо не сумело настоять на их осуществлении. Оно сумело восстановить против себя едва ли не всю мыслящую Россию и, следовательно, с общественным мнением не считалось вовсе, но обезопасить себя и страну не считало нужным.

Не додумались до этого и крайние правые элементы, хотя основывать власть на штыках — их любимый способ действия.

Вместо того чтобы усилить воинскую дисциплину в частях, сосредоточенных в тылу, и тем самым подготовить силу для подавления возможных революционных вспышек, мы искусственно создали в самой столице такие воинские единения, которые как бы были предназначены для обеспечения торжества всякого революционного действия.

Так, по крайней мере, высказался генерал Корнилов, про сосредоточенные в Петербурге гвардейские запасные батальоны, когда по назначению Временным правительством начальником Петербургского военного округа он ознакомился со способами их обучения и воспитания.

Наряду с усиливающимся движением в рабочих кругах возрастало и общественное недовольство в кругах оппозиционных. Выражалось оно не только в горячих речах, произносимых с трибуны Государственной думы. Начали образовываться и более или менее конспиративные собрания, имевшие целью принудить правительство изменить свой способ действия, а в особенности поставить монарха в необходимость привлечь к власти людей, пользующихся общественным доверием.

Поначалу, а именно к марту 1915 г., партийные цели тут не преследовались, а имелось в виду едва ли не исключительно обеспечение победы над врагом. Впоследствии примешались и иные цели, а именно введение в России парламентского образа правления. Но произошло это значительно позднее. Первоначально стремились лишь поставить у власти людей, способных в тяжелую для страны минуту умелой и властной рукой править рулем государственного корабля. В сущности, вопрос шел в ту пору не об общественном доверии, а об отдельных правителях, причем *implicite* предполагалось, что общественным доверием пользуются лишь выдающиеся государственные люди. Увы, последующее доказало, что это далеко не всегда так.

Собранный в августе 1915 г. в доме Коновалова в Москве съезд прогрессивных деятелей пришел к заключению, что лучшим средством воздействия на власть является дружная, в определенном направлении

общественная агитация. Решили прибегнуть к уже испытанному в 1905 г. средству, а именно к вынесению земскими и городскими учреждениями однозвучных по этому предмету резолюций. Первый сигнал должна была дать московская городская дума, которая это и исполнила единогласно. Поскольку здесь преобладали чувства и намерения патриотические, чуждые всяких революционных стремлений, можно судить по тому, что самое крайнее правое крыло московской думы с [таким] определенным черносотенцем во главе, как Шмаков, присоединилось к соответствующей резолюции думы. Одновременно московская дума обратилась с телеграммой на высочайшее имя с выражением верноподданнейших чувств и указанием на необходимость для успешного одоления врага образования министерства, пользующегося доверием населения страны. Вместе с тем дума ходатайствовала о разрешении избранной ею депутации представиться лично государю. Тут же дума обратилась с приветственной телеграммой к великому князю, верховному главнокомандующему, желая этим подчеркнуть, что в нем население видит своего национального вождя.

Телеграмма эта, равно как состоявшийся в Москве съезд и принятые на нем резолюции вызвали в Совете министров прения, впервые ясно обнаружившие то основное разногласие, которое существовало между большинством членов Совета и его председателем.

Горемыкин усматривал в резолюции и съезда и московской думы одно лишь желание — изменить существующий образ правления и ограничить власть монарха. Против этого протестовали почти все министры, причем с особой горячностью высказались по этому поводу Самарин и Кривошеин. Они говорили, что общественная тревога и вызванные ею общественные выступления — не что иное, как «крик наболевшей души».

После, по обыкновению, длительных прений Совет министров пришел к заключению, что на телеграмму московской городской думы должен последовать весьма милостивый ответ государя, ходатайство же о принятии депутации должно быть отклонено, что в действительности и произошло.

Пока происходили описанные события, побуждавшие Совет министров настаивать перед государем о созыве военного совета, обозленная донельзя назначением Поливанова, а в особенности Самарина, темная клика, окружавшая Распутина и превратившая его в орудие достижения своих целей, усердно работала над упразднением влияния на государя великого князя Николая Николаевича. Ближайшей целью этой шайки — иначе назвать ее нельзя — было в то время внушение императрице, а через ее посредство и государю подозрения в лояльности престолу великого князя. Сначала полусловами, а затем совершенно определенно стремятся они убедить императрицу, что при помощи своей популярности в войсках вел[икий] князь Николай Николаевич замышляет так или иначе свергнуть царя с престола и

воссесть на нем самому. Единственным средством, способным, по утверждению этих лиц, предупредить готовящееся военное pronunciamiento²³, является немедленное смещение великого князя, причем возможно это только при условии принятия государем верховного командования армиями лично на себя. Играя, как всегда, на мистических свойствах природы царской четы, Распутину и компании удается внушить государю мысль, что долг царского служения повелевает царю делить с армией в тяжелые минуты ее горе и радости. Мысль эта падает на весьма благодатную почву. Стать самому во главе армии Николай II имел намерение еще при самом возникновении войны, и правительству стоило тогда большого труда убедить его отказаться от этого намерения. Под натиском Распутина, а в особенности царицы, государь преисполняется этой мыслью, и, как это доказали последующие события, ничто не было в состоянии поколебать принятое им решение.

Сведение о том, что государь решил сменить великого князя — верховного главнокомандующего, впервые достигло Совета министров в его заседании 6 августа.

Под конец этого заседания, посвященного обсуждению других вопросов, военный министр Поливанов, все время хранивший упорное молчание, но выказывавший явные признаки крайней чем-то озабоченности, внезапно заявил, что он вполне сознательно нарушает приказание государя до времени не разглашать принятого им решения и считает своим долгом сообщить Совету, что Его Величество намерен в самом близком времени возглавить действующую армию.

Известие это приводит господ министров в весьма возбужденное состояние; перебивая друг друга, хором высказываются они против принятого государем решения, приводя к этому множество разнообразных причин.

Надо сказать, что такое же отношение к решению государя проявила и вся общественность, когда и до нее дошла об этом весть. В основе такого отношения к решению государя крылись разнообразные причины. Одни тревожились за дальнейший ход военных действий, но в особенности страшились того громадного риска, который был сопряжен с принятием на себя государем военной ответственности как раз в тот момент, когда наше положение с каждым днем ухудшалось, причем предвиделась возможность захвата неприятелем любой из обеих столиц. Другие недовольны были главным образом устранением великого князя, завоевавшего симпатии передовой общественности как известным его приказом, касающимся восстановления Польши²⁴, так и не столько им проявленным, сколько приписываемым ему расположением к общественности и к принятию ею широкого участия в общем народном деле защиты родины.

Общеземский союз, сумевший завоевать себе на фронте привилегированное положение, опасался, что с переменой командования он этого положения не сохранит. Играя на разных струнах, всячески муссировала деятельность великого князя и печать разнообразных оттенков.

Приблизительно то же чувство испытывал и Совет министров, причем высказываемые министрами мотивы совпадали с мотивами, высказываемыми общественными кругами. Крайне болезненно отнеслись министры и к тому обстоятельству, что государь принял столь важное решение, не только предварительно с ними не посоветовавшись, но как бы тайком от них. Оказалось, однако, что председатель Совета уже знал про это решение. На упреки, обращенные к нему министрами по поводу того, что он утаил от них это важнейшее обстоятельство, Горемыкин строго ответил: «Я не считал возможным разглашать то, что мне государь приказал хранить в тайне. Я человек старой школы. Для меня высочайшее повеление закон». К этому Горемыкин прибавил: «Должен сказать, что все попытки отговорить государя будут все равно безрезультатны. Его убеждение сложилось уже давно. По словам Его Величества, долг царского служения повелевает монарху быть в момент опасности вместе с войсками, и когда на фронте почти катастрофа, Его Величество считает священной обязанностью русского царя быть среди войск и с ними либо победить, либо погибнуть».

Министры этими словами не убеждаются. «Надо протестовать, просить, умолять, настаивать, словом, исчерпать все доступные нам способы, — говорит Самарин и прибавляет: — Народ давно уже со времени Ходынки и Японской войны считает государя царем неудачливым, несчастливым. Наоборот, популярность великого князя прочна, и он является лозунгом, вокруг которого объединяются последние надежды. И вдруг смена главнокомандующего. Какое безотрадное впечатление и в обществе, и в народных массах, и в войсках».

Дальнейшее отступление, могущее привести к эвакуации и Петербурга и Москвы после принятия на себя государем всей ответственности за ход военных действий, по мнению министров, породит ослабление и даже полное крушение обаяния монаршего имени, и даже закончится гибелью династии.

Опасался Совет министров и последствий, которые возымеет решение государя на тон речей, произносимых с трибуны Государственной думы. О степени возбуждения этих кругов Совет министров мог судить по следующему характерному инциденту.

11 августа во время заседания Совета министров приехал в Мариинский дворец председатель Государственной думы Родзянко и настоятельно потребовал, чтобы его приняли. Вышедшему к нему Горемыкину он в величайшем возбуждении заявил, что немислимо допустить осуществление

намерений царя сменить великого князя и самому стать во главе войск и что Совет министров обязан принять все меры к отмене этого решения. Неизменно спокойный Горемыкин ему холодно ответил, что правительство в данном вопросе делает все, что ему подсказывает совесть и сознание долга, а в его советах не нуждается. Тогда Родзянко, не прощаясь с Горемыкиным, выскочил из комнаты, где происходила их беседа, и ураганом промчался через переднюю, причем швейцару, подававшему ему его собственную палку, гневно закричал: «К черту палку!»

Тем временем государь посылает генерала Поливанова в Ставку с письмом великому князю, содержащим предложение занять пост наместника и главнокомандующего на Кавказе, а Щербатов в одном из ближайших заседаний сообщает, что Воейков не только не желает убеждать государя отказаться от своей мысли, а, наоборот, находит ее прекрасной. Борьба с влиянием Распутина, под влиянием которого, как это ныне доподлинно известно из писем государыни, государь принял решение, о котором идет речь, этот эгоистический царедворец, очевидно, не пожелал.

В заседаниях 10 и 11 августа Совет министров вновь возвращается к тому же вопросу, изыскивая способы хотя бы отсрочить осуществление мысли государя или, по крайней мере, смягчить возможные его последствия.

С разрешения государя, переданного им Сазонову, докладывавшему о той тревоге, которую вызывает в Совете министров предпринятый государем шаг, Совет поручает Кривошеину составление рескрипта на имя великого князя в коем были бы пояснены мотивы, побудившие царя стать самому во главе войск, как то: необходимость объединить гражданское и военное управление и долг царского служения, а также указать на важные заслуги великого князя.

Самарин продолжает настаивать на коллективном ходатайстве перед царем об отказе от принятого им пагубного, по его мнению, решения. Он с пафосом восклицает: «Ведь русский царь — это наша последняя ставка».

Далее Совет вновь возвращается к вопросу о созыве военного совета с участием великого князя и правительства и вновь поручает вернувшемуся из Ставки Поливанову передать это ходатайство государю. Искушенный Горемыкин, лучше понимавший характер Николая II, твердо заявляет, что ничего из дальнейших настояний по этому предмету не выйдет. Вообще, с этого времени разномыслие между председателем Совета и его членами становится все явственнее и все резче.

Совет продолжает стоять за самое энергичное воздействие на государя, и одновременно большинство Совета высказывается за установление с законодательными палатами и общественностью возможно дружеских отношений. Горемыкин признает, что всякое воздействие на государя

бесполезно, ибо реальных результатов не даст, а относительно отношений с Государственной думой и общественностью придерживается той же точки зрения, на которой он стоял 9 лет тому назад по отношению к Первой Государственной думе, а именно с Государственной думой не ссориться, но и не дружить, а по возможности ее игнорировать.

Решающим днем является в этом отношении 16 августа, когда во время заседания Совета министров Самарин вновь настаивает на том, чтобы Совет министров *in corpore*²⁵ обратился к государю с мольбой об отказе от мысли принять на себя командование войсками. «За последнее время, — говорит Самарин, — усиленно возобновились толки о скрытых влияниях, которые будто бы сыграли решающую роль в вопросе о командовании. Я откровенно спрошу государя об этом и имею на это право. Когда Его Величество предложил мне пост обер-прокурора Св. синода, я согласился лишь после того, как государь лично сказал мне, что все рассказы придуманы врагами престола. Но сейчас слухи настолько упорны, что я напомню о нашей тогдашней беседе, и если положение действительно изменилось, буду просить об увольнении меня от должности. Готов до последней капли крови служить моему законному царю, но не ...»

Вообще имя Распутина начинает все чаще раздаваться ... Совета. В особенности в связи с упомянутым решением государя. Говорится о том, что распространение слухов о влиянии Распутина подрывает "монархический принцип гораздо сильнее, чем все революционные выступления. Между тем, по словам Самарина, сам Распутин имеет смелость" говорить, что он убрал великого князя. Тем более необходимо, чтобы не произошло смены главнокомандующего.

Горемыкин упрямо твердит свое: «Государя переубедить нельзя. Не следует напрасно терзать и без того измученного человека».

После новых повторных ходатайств перед государем отдельных министров, действовавших по уполномочию остальных членов Совета, об изменении принятого царем решения Николай II, невзирая на то что эти ходатайства председателем Совета поддержаны, очевидно, не были, согласился наконец выслушать мнение всего правительства.

Заседание Совета в Высочайшем присутствии состоялось в Царском Селе 20 августа. Последствия его были совершенно не те, которые ожидали настаивающие на нем министры.

Предполагалось, что в нем будут обсуждаться вопросы 1) о Верховном главнокомандовании и 2) о будущей внутренней политике, т.е. будет ли эта политика твердая, носящая характер диктатуры, или же пойдет она на встречу общественным пожеланиям. «Золотая середина, — сказал по этому поводу в Совете министров Кривошеин, — всех озлобит».

Эти вопросы и были предметом суждений председательствуемого государем заседания 20 августа. По первому вопросу, по обыкновению, ни к какому решению не пришли, но стало совершенно ясно, что реакционная точка зрения Горемыкина разделяется государем, который, не желая принять никаких решительных мер к прекращению обильно льющейся с кафедры Государственной думы страстной критики по адресу правительства, по существу, не желает с нею вовсе ссориться.

На состоявшемся на следующий день очередном заседании Совета министров многие его члены обратились с упреком к Горемыкину в том, что он не только не поддержал их стараний убедить государя отказаться от смены великого князя, но как бы сам признавал решение государя правильным, хотя в Совете высказывался в обратном смысле.

Тут же большинство министров обращается к государю с письмом, в котором еще раз умоляет государя не принимать на себя ответственности за дальнейший ход военных действий. Письмо это подписывают все министры за исключением кн. Шаховского, что в достаточной степени объясняется его близостью к Распутину, и А.А. Хвостова, понемногу перешедшего в лагерь Горемыкина. Не подписывают письма и военный и морской министры, так как правила воинской дисциплины им это воспрещают, но при этом принимают меры для доведения до сведения государя, что они со своими товарищами по Совету в этом вопросе вполне солидарны.

Не могу по этому поводу не заметить, что выказанное в этом вопросе господами министрами упорство можно объяснить лишь каким-то тем более странным психозом, что они в то же время сознавали и указывали на невозможность сохранения того двоевластия, которое образовалось в империи при наделении Ставки Верховного диктаторскими полномочиями. Современная война отнюдь не ограничивается исключительно одними военными действиями. В ней силою вещей участвуют все живые силы страны и также все отрасли ее управления. При таких условиях, коль скоро главный военный начальник не ограничен в своих действиях исключительно преследованием боевых задач, ему по необходимости приходится передать управление всем государством. Каким образом русские министры летних месяцев 1915 г. этого не постигали, понять трудно.

Между тем разногласие между председателем Совета министров и его членами становится все более острым. Обнаруживается это в том же заседании 21 августа при обсуждении вопроса о прекращении сессии Государственной думы приблизительно до осени.

Желательность прервать занятия Государственной думы признают все министры, но в то же время одни из них желают расстаться с Государственной думой по-хорошему, высказывая опасения, как бы в

противном случае не возникли рабочие беспорядки. Некоторые министры даже говорят, что «лучше митингующая Дума», нежели ее насильственный, без предварительного сговора, роспуск. Наибольшую твердость проявляет в этом вопросе тот же Горемыкин. «Рабочее движение пойдет своим чередом и ничего общего с роспуском Государственной думы не имеет», — заявил он.

Однако все эти суждения служат лишь подступом к постановке основного вопроса, а именно — необходимости исполнить повсеместно высказываемое общественностью пожелание о назначении правительства, пользующегося доверием страны. При этом некоторые министры высказываются за коллективное в этом смысле заявление Совета министров государю.

Горемыкин говорит, что подобного заявления он допустить не может, на что Сазонов резко замечает, что «в таком случае мы (думающие иначе) оставляем за собою свободу действий». «Мы с вами, Иван Логгинович, находимся в разладе» — так заканчивает свое обращение к председателю Сазонов, на что Горемыкин тотчас отвечает: «Усердно прошу вас доложить государю о моей непригодности и о замене другим, более подходящим лицом», — и затем несколько раз с силой это повторяет.

Как бы то ни было первоначально Горемыкин разделяет мысль о желательности до роспуска Государственной думы сговориться с ее лидерами и сопроводить указ о перерыве сессии правительственной декларацией, заключающей милые слова по адресу законодательных палат. Но в начале сентября, предварительно заручившись соответственным Высочайшим указом, Горемыкин объявляет Совету, что сессию он прекратит немедленно без всяких сопутствующих этому указу правительственных деклараций.

Изменение взгляда Горемыкина происходит в связи с образованием в половине августа так называемого прогрессивного парламентского блока.

При каких условиях образовался этот блок? Кто был его инициатором? Мне сдается, что мысль образования блока между партиями, занимавшими центральное положение в Государственной думе и Государственном совете, впервые возникла у того же Кривошеина.

Имея в виду возглавить правительство, Кривошеин мечтал о принятии власти с одобрения общественности, обеспечив себе тем самым и ее будущую поддержку. Рассчитывал он при этом на поддержку парламентских кругов и для скорейшего увольнения Горемыкина.

Как было к этому реально подойти? С чего начать? Наиболее разумным ходом казалось Кривошеину, да и не ему одному, начать с объединения представленных в Государственной думе и Государственном совете разумных элементов в один объединенный союз, преследующий одну,

превосходящую в данный момент все остальные цель. Для образования такого объединения естественно было обратиться к присяжному организатору новых в Государственной думе политических комбинаций П.Н. Крупенскому. По мнению Кривошеина, объединение умеренно-правых элементов прежде всего в лице октябристов, с которыми Кривошеин с давних пор был и в единомыслии, и в близком контакте, с элементами, еще недавно определенно оппозиционными, но со времени начала войны заявившими, что в деле государственной обороны они всецело будут поддерживать правительство, обеспечивало превращение большинства обеих палат из оппозиции в опору правительства. Словом, одним ударом получалось двойное действие: с одной стороны, обеспечивался разумный умеренно-правый состав правительства с некоторой прослойкой общественности, почерпнутой, между прочим, из рядов торгово-промышленной среды (с ней Кривошеин был близок через родство своей жены), а с другой, правительство получало мощную поддержку разнообразных политических течений и перед престолом, и перед страной. Спешу оговориться, что прямых конкретных данных для подтверждения высказанного мною предположения у меня нет. Мысли свои по этому предмету Кривошеин, умевший таить про себя свои планы, мне не высказывал, и во все время образования парламентского блока я отнюдь не подозревал его участия в этой политической комбинации хотя бы поневоле, косвенно. Но множество побочных данных убеждают меня, что моя догадка, ибо это, разумеется, догадка, верна.

Основываю я свою догадку прежде всего на том, что Кривошеин во время образования блока отнюдь не скрывал своего сочувствия этой политической комбинации, а во-вторых, что главное, принятое блоком тотчас по его образованию положение, а именно образование министерства общественного доверия, была именно та цель, которую стремился осуществить Кривошеин. Действительно, если впоследствии большинство блока под термином «министерство общественного доверия» подразумевало министерство, ответственное перед законодательными палатами, иначе говоря, парламентский строй, то я положительно утверждаю, что при своем образовании, да и в течение всей зимы 1915—1916 гг. под министерством общественного доверия имелся в виду лишь такой состав правительства, который пользовался лишь моральной, а не юридической поддержкой Государственной думы и широких общественных кругов. Конечно, это формула довольно туманная, и весьма возможно, что некоторые члены блока из наиболее видных, например Милюков, с места имели в виду введение у нас парламентского строя, как обеспечивающего им лично участие в правительстве (в сущности основной цели которой они добивались), но гласно они этого не высказывали, и вообще вопрос об изменении конституции страны в блоке ни разу не возбуждался. Думается мне, впрочем, что и Милюков и иже с ним если и стремились к парламентскому строю, чего они никогда не скрывали, то все же первоначально подразумевали под министерством общественного доверия такое министерство, которое по

личному составу не вызывало бы неприязни и даже негодования как в думских, так и в общественных кругах, что от такого министерства легко было перейти к определенно зависящему от народного представительства, было понятно каждому.

Обращаюсь, однако, к самому составлению блока. Я уже упомянул, что главным инициатором этого блока был П.Н. Крупенский. Обойдя и переговорив с наиболее видными представителями думских фракций, от кадет вплоть до умеренно-правых, а также с некоторыми членами Государственного совета, он предложил им собраться вместе за общей трапезой в ресторане «Контан», что на Мойке, с целью переговорить о согласовании деятельности обеих палат. Это предложение было охотно принято, и вот, приблизительно в начальных днях августа месяца, у Контана собрались представители всего думского центра и академической фракции Государственного совета барон Меллер-Закомельский, М.М. Ковалевский, М.А. Стахович, а от членов Государственной думы Милюков, гр. В.А. Бобринский, Ефремов, Шульгин и, разумеется, сам П.Н. Крупенский. Первоначально разговор был общего характера и ничего конкретного не обсуждалось. Но к концу обеда временно удалившийся Крупенский влетел вновь в комнату и в большом возбуждении сообщил, что состоялось решение о принятии государем лично на себя командования армией. Известие это произвело огромное впечатление в особенности на лиц оппозиционного направления. В Ставке, возглавляемой великим князем Николаем Николаевичем, видели некоторый корректив к ультраправым течениям, поддерживаемым государем. Но независимо от сего и на чисто патриотической почве принятие на себя государем верховного главнокомандования войсками вызвало большие опасения. Что бы ни говорили, но собравшиеся члены Государственной думы, вплоть до самых левых, были в то время сплошь монархисты и всякого революционного действия во время войны не только не желали, но всемерно опасались. Впрочем, в момент образования блока о возможности революции и помыслов еще не было.

Как бы то ни было, полученное известие как-то способствовало объединению собравшихся. Тут было решено собраться вторично на квартире М.М. Ковалевского, за которым последовал ряд других собраний уже на квартире избранного председателем собравшихся барона Меллера-Закомельского, где и происходили заседания блока вплоть до самой революции. Приступили вскорости к составлению программы блока, приемлемой для всех представленных фракций законодательных палат. Для составления программы были избраны три лица: Милюков, Шульгин и автор этих строк. При составлении этой программы принимал, впрочем, участие и барон Меллер в качестве хозяина квартиры, где собирались. По выработке программы она была воспроизведена в количестве экземпляров, соответствующем числу инициаторов (если не ошибаюсь, нас было в то

время десять человек), и им разослана накануне дня, назначенного для ее обсуждения. Однако не успела эта программа быть обсуждена и утверждена пленумом инициаторов, как выяснилось, что она уже находится в руках правительства. Вслед за тем произошло довольно длительное обсуждение выработанной программы в различных фракциях Государственной думы и Государственного совета, что сопровождалось избранием этими фракциями своих представителей в комитет блока. Насколько помнится, программа была принята всеми фракциями без изменений, во всяком случае, без существенных изменений.

25 августа представители фракций и групп Государственной думы и Государственного совета подписали программу соглашения образовавшегося «Прогрессивного блока», в который вошли от Государственной думы: прогрессивный националист гр. В. Бобринский, группы центра Львов, земец-октябрист Дмитриуков, левые октябристы-прогрессисты С. Шидловский, И.И. Ефремов и кадет Милюков. От Государственного совета группы академистов Д. Grimm, центра барон Меллер-Закомельский и условно группы беспартийного объединения Гурко.

«Нижеподписавшиеся представители партий и групп Государственной думы и Государственного совета, исходя из уверенности, что только сильная, твердая и деятельная власть может привести отечество к победе и что такую может быть только власть, опирающаяся на народное доверие и способная организовать активное сотрудничество всех граждан, пришли к единогласному решению, что насущнейшая и важнейшая задача создания такой власти не может быть осуществлена без выполнения нижеследующих условий:

Создание объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны, и согласившегося с законодательными учреждениями относительно выполнения в ближайший срок определенной программы. Решительное изменение применявшихся до сих пор приемов управления, основывавшихся на недоверии к общественной самодеятельности. В частности: а) строгое проведение начал законности в управлении; б) устранение двоевластия в вопросах, не имеющих непосредственного отношения к ведению военных операций; в) обновление состава местной администрации; г) разумная и последовательная политика, направленная на сохранение внутреннего мира и устранение розни между национальностями и классами.

Для осуществления такой программы должны быть приняты следующие меры:

Частичная амнистия политически осужденных и возвращение административно сосланных. Полная веротерпимость. Разрешение русско-польского вопроса. Приступ к отмене ограничений для евреев.

Примирительная политика по отношению к Финляндии. Восстановление деятельности профессиональных союзов. Проведение по соглашению с законодательными учреждениями уравнивания в правах крестьян с другими сословиями. Введение волостного земства. Введение земских учреждений в Сибири, Архангельской губернии, Донской области и на Кавказе. Изменение земского положения 1890 г. и городского положения 1892 г.» и т.д. (множество других менее важных законодательных мер).

В Государственном совете к блоку и его программе безоговорочно присоединилась лишь академическая группа. Центр не принял определенного решения в смысле подчинения своей деятельности решениям, принятым блоком. Относясь в общем к образованию блока вполне сочувственно, центр Государственного совета в виду того, что многие его члены состояли в Совете по назначению, лишен был возможности открыто вступить в состав блока, но, однако, выбрал в качестве своего представителя в нем барона Меллера. Еще менее определенно высказалась партия беспартийных, к составу которой я принадлежал. Немногочисленная по своему составу — число ее членов постоянно колебалось между 12 и 14, — она в большинстве состояла из бывших министров, считавших неудобным записываться в какую-либо определенную фракцию. Однако в общем фракция состояла из лиц, настроенных если не определенно прогрессивно, то, во всяком случае, либерально. В качестве лиц, бывших у власти, но от нее отставленных, они, естественно, состояли в некоторой оппозиции по отношению к лицам, их сменившим, но при этом держались строго корректно, с трибуны никаких нападок на правительство себе не позволяли и, разумеется, открыто вступать в состав блока не признавали возможным, и я хотя и считался делегированным от этой фракции в комитет блока, но формальных полномочий не имел, ибо и самых выборов делегата не было произведено. Тем не менее большинство фракции беспартийных относилось как к самому образованию блока, так и к принятой им программе сочувственно.

Иначе отнеслись к образованию блока крайнеправые крылья как Государственной думы, так и Государственного совета. Они едва ли не с места заподозрили блок в революционных устремлениях, не без основания опасаясь, что при объединении элементов оппозиционных с теми, которые в общем считали, что существующий государственный строй отвечает положению страны, верх и руководящее влияние в создавшемся таким путем союзе возьмут элементы левые, обладающие большими политическими навыками и большей трудоспособностью. Опасения эти, надо признать, до известной степени оправдались. Комитет блока (не помню точно, как именно он назывался) по мере развития событий, несомненно, левел, причем это полевание проявляли не столько представители оппозиционных фракций, сколько, наоборот, фракции, в общем консервативные.

О степени левизны, а тем более революционности блока и составляющих его комитет отдельных представителей различных течений политической мысли лучше всего судить не только по приведенной мною выше программе, но и по отношению к ней правительства.

Отношение это тем более интересно, что именно на ее почве произошел окончательный разрыв между председателем Совета министров и его членами. Последние тотчас по осведомлении об образовании парламентского блока и ознакомлении с его программой увидели возможность путем сговора с блоком установить нормальные и даже дружеские отношения с народным представительством. Иначе отнесся к этому Горемыкин. В то время как такой правый, как Самарин, говорил, что «нельзя отметать общественные элементы в год величайшей войны», что «необходимо единение всех слоев населения», Горемыкин усматривал в образовании блока, который к тому же, по его мнению, очень быстро рассыпется, революционные замыслы. Кроме того, он признавал блок за организацию, вообще «неприемлемую», как законом не предусмотренную, «междупалатную». «Плохо скрытая цель блока, — утверждает Горемыкин, — ограничение царской власти. Против этого буду бороться до конца».

После продолжительных и страстных прений Совет пришел, однако, к заключению о необходимости вступить в переговоры с представителями блока, 5/6 программы которого, по мнению большинства Совета, вполне приемлемы для правительства. На это нехотя соглашается и Горемыкин, с тем чтобы эти переговоры имели совершенно частный и преимущественно осведомительный характер. С этой целью Совет избирает из своей среды четырех представителей, а именно кн. Щербатова, А. Хвостова, кн. Шаховского и П.А. Харитонов, на квартире у которого и должна происходить «беседа» с лидерами блока.

В означенной беседе, состоявшейся 27 августа, со стороны блока участвовали одни лишь члены Государственной думы, а именно Милюков, Дмитрюков, Шидловский и Ефремов. На вопрос министров, что надлежит понимать под правительством, пользующимся доверием общественности, все думцы единогласно заявили, что вопрос сводится к призыванию Его Величеством, по собственному выбору лица, пользующегося доверием общества, которому было бы поручено составление кабинета из лиц по [его] усмотрению, а равно установление определенных взаимоотношений с Государственной думой. При дальнейшем рассмотрении программы блока его представители проявили полную сговорчивость и готовность идти на уступки.

В смысле желательности и возможности сговориться с блоком докладывает в заседании 28 августа и Харитонов о происходившей у него накануне беседе.

Как бы пропуская это заявление мимо ушей, Горемыкин ставит на обсуждение вопрос о прекращении сессии законодательных палат, причем высказывается за его немедленность. Тогда Сазонов и некоторые другие, присоединившиеся к нему министры, соглашаясь с желательностью прекратить сессию Государственной думы в ближайшие дни, ставят, однако, срок прекращения в зависимость от предварительного соглашения с блоком, вследствие чего Совет вновь возвращается к обсуждению программы образовавшегося междупалатного объединения. Суждения Совета по этому вопросу вновь принимают характер расплывчатый и грозят кончиться, по обыкновению, ничем. Но тут вступается Кривошеин и путем вскрытия истинного положения вещей вынуждает председателя высказаться решительно по существу вопроса. Существо это, по мнению Кривошеина, сводится не к той или иной программе, а к выбору тех или иных лиц. «Пускай монарх решит, — говорит Кривошеин, — как ему угодно направить внутреннюю политику, по пути ли игнорирования высказываемых пожеланий (о людях) или по пути примирения, избрав, во втором случае, пользующееся общественными симпатиями лицо и возложив на него образование министерства. Без этого мы никуда не двинемся. Я лично высказываюсь за избрание государем такого лица и поручение ему составить кабинет, отвечающий чаяниям страны».

К вышесказанному Кривошеиным тотчас присоединяются Сазонов, Харитонов и гр. Игнатъев.

«Следовательно, по вашему мнению, вопрос о роспуске Государственной думы должен быть отложен до распределения портфелей и ограничения монарха в праве избрания министров», — сердито огрызнулся Горемыкин.

Кривошеин формулирует, однако, этот вопрос иначе: «Мы, старые слуги царя, берем на себя роспуск Государственной думы и вместе с тем твердо заявляем государю, что общее внутреннее положение страны требует перемены и кабинета, и политического курса».

Значит, царю ставится ультиматум: отставка Совета министров и новое правительство», — подчеркивает Горемыкин.

Несмотря на столь резкую постановку вопроса, большинство Совета министров решает: Государственную думу распустить немедленно и предоставить Его Величеству ходатайство о смене кабинета.

«Все подробно доложу Его Величеству, что он велит, то и исполню», — сердито заявляет Горемыкин и закрывает заседание.

Следующее заседание Совета министров состоялось лишь 2 сентября. В промежуток Горемыкин съездил в Ставку, куда государь переехал еще 21 августа, и там имел продолжительный доклад у государя. Что при этом было

доложено Горемыкиным государю, Совету министров осталось неизвестным, но сообщенное им решение царя было кратко и определено: «Государственную думу распустить не позже 3 сентября. Совету министров оставаться в полном составе на своих местах». При этом Горемыкин сообщил, что государь обещал созвать господ министров в ближайшем будущем в Ставке.

Решение это приводит господ министров в ужас. Сазонову становится почти дурно, и, выходя из заседания, он восклицает: «*Il est fou, le vieillard!*»

С необыкновенной для него прямоотой и смелостью высказывается Кривошеин. «Все наши суждения, — говорит он, — обнаруживают, что проявившаяся между вами, Иван Логгинович, и большинством Совета министров разница в оценке положения еще более углубилась. Вы докладывали государю, он согласился с вами. Вы исполняете царские указания, а сотрудники ваши — те лица, которые возражали против целесообразности вашей политики. Простите мне один вопрос — как вы решаетесь действовать, когда представители исполнительной власти убеждены в необходимости других средств, когда весь правительственный механизм вам оппозиционен, когда и внешние и внутренние события становятся все более грозными?»

«Свой долг перед государем, — ответил Горемыкин, — я исполню до конца, с какими бы противодействиями и несочувствиями мне ни пришлось встретиться. Я все доложил Его Величеству и просил меня заменить другим более современным деятелем. Высочайшее повеление последовало, оно для меня закон».

Когда знакомишься с сохранившимися протоколами заседаний Совета министров²⁷ и той бурной распрей, которая возникла между председателем Совета и его членами в летние месяцы 1915 г., то при всем признании пагубности для России проводимой в то время Горемыкиным политики все же невольно преклоняешься перед ее цельностью, крепостью и лояльностью.

Иное впечатление получается при чтении пространных писем Александры Феодоровны, посланных ею государю в промежуток между 21 августа, временем заявления о их несогласии с политикой Горемыкина, и 16 сентября, днем заседания под председательством государя созванных в Ставке членов Совета. В этих письмах обнаруживается другое, а именно желание Горемыкина остаться у власти, а в особенности огульное порицание несогласных с ним министров. Горемыкин, разумеется, мог быть иного мнения, нежели члены его кабинета, но усматривать в их действиях какую-то интригу и даже будто недостаточную преданность государю он не мог. Он должен был ясно видеть, что его сотрудники глубоко потрясены всем происходившим в России и разошлись с ним не на почве мелких личных

счетов и честолюбивых замыслов, а на почве иной оценки соотношения сил в Русском государстве.

Каковы же были истинные мотивы, руководившие Горемыкиным в описываемый критический для государства момент? Установить их ныне в точности, конечно, нельзя, но одно можно сказать с уверенностью, а именно что среди мотивов, руководивших Горемыкиным, было и желание сохранить власть за собою.

Потерпев неудачу перед государем в вопросе о смещении председателя Совета, отдельные его члены все же не хотели с этим примириться, причем опять-таки окольными путями постарались использовать с той же целью образовавшийся парламентский блок. Сообщив через третьих лиц о всем происшедшем, они подсказали лидерам блока мысль самим обратиться к Горемыкину.

Комитет блока избрал из своей среды нескольких лиц, которым и поручил переговорить с председателем Совета министров или, вернее, указать ему, что в данное время, требующее от правительства исключительной энергии, он должен уступить свое место другим, более молодым силам.

Судя по докладу, сделанному упомянутой делегацией комитету блока, беседа с Горемыкиным велась в самых мягких, мирных тонах, но, разумеется, ни к каким результатам не привела. С доводами, высказанными представителями блока, Горемыкин, разумеется, не согласился, причем укрылся за волей государя. Пока-де государь считает соответственным иметь его во главе правительства, он не считает себя вправе уклониться от несения тяжелых возложенных на него обязанностей. Однако в описываемое время, а именно в начальные сентябрьские дни, государь ни к какому окончательному решению еще не пришел, и Кривошеин имел еще основание считать, что министерский кризис будет разрешен в смысле желательном для общественности. Из тех же, относящихся к этому времени писем императрицы видно, что она сознавала в это время, что оставление Горемыкина председателем Совета министров при всеобщем возбуждении против него — невозможно, и лишь настаивала перед государем о том, чтобы он отложил эту меру на некоторое время, дабы принять ее затем по собственному побуждению, а не по настоянию членов Совета. Думала Александра Феодоровна и о кандидатах на эту должность, причем останавливалась, правда как бы мельком, и на военном министре³⁰. Предрешено было к этому времени лишь увольнение кн. Щербатова, заместителем которого намечался усиленно через Вырубову и Распутина добивавшийся этого Алексей Хвостов (племянник министра юстиции, сын бывшего обер-прокурора 2-го департамента Сената, о котором я упоминал в предыдущем изложении). Настаивала государыня в особенности на немедленном увольнении Самарина, в котором видела чуть ли не личного врага. Колебания государыни продолжались, однако, недолго.

По мере приближения того дня, на который министры были созваны в Ставку, письма Александры Феодоровны государю становятся под явным влиянием разговоров с Горемыкиным все решительнее, все настойчивее в смысле сохранения Горемыкина, и если не огульного увольнения всех министров, то, по крайней мере, их форменного разноса государем. Повлияло тут, во-первых, то, что смена главнокомандования произошла без всяких инцидентов, а положение на фронте заметно улучшилось почти тотчас после того, как царь стал лично во главе армии. Между тем на этой смене особенно настаивал Распутин, а потому вера государыни в правильность его советов еще более упрочилась. Советы же эти были направлены к сохранению Горемыкина и смене [министров], осмеливающихся возражать против царских намерений. В этом духе и написаны все письма Александры Феодоровны. В них она прямо говорит: «Хлопни кулаком по столу», «Ты выдержал борьбу по вопросу о смене Николая Николаевича, поступай теперь так же».

14 сентября приехал в Ставку Горемыкин. Письмами государыни почва была уже настолько подготовлена, что Горемыкину уже не стоило труда убедить государя немедленно, не откладывая до своего возвращения в Петербург, разрубить создавшееся положение, а именно тотчас вызвать министров в Ставку и тут им решительно высказать, что их образ действий он не одобряет и признает соответственным оставить во главе правительства Горемыкина.

В конечном результате отчаянные попытки большинства членов Совета министров изменить характер государственной политики не только не привели к этому, а, наоборот, ухудшили положение. Ко времени приезда министров в Ставку государь был уже настолько настроен против большинства из них, что, открывая заседание, обратился к собравшимся с совершенно для него необычной и несвойственной ему по резкости речью, причем назвал их поступок — обращение к нему с заявлением об увольнении Горемыкина либо их самих — забастовкой министров. Министры, разумеется, молча выслушали эту гневную речь, после чего наступило тяжелое и довольно продолжительное молчание. Прервал это молчание Горемыкин, обратившись к государю со словами: «Пускай эти господа объяснят Вашему Величеству, почему они не хотят со мною работать. Вот, например, министр внутренних дел, пускай это скажет».

Положение Щербатова, взятого врасплох, было трудное и щекотливое; он отделался общими, незначащими фразами, стараясь лишь настолько продлить свою речь, чтобы дать остальным министрам время собраться с мыслями.

После Щербатова попросил слова Кривошеин. Он, очевидно, решил идти напролом. В весьма решительных и смелых выражениях указал он на невозможность в столь серьезный переживаемый страной момент вовсе не

считаться с общественным мнением и общественными силами. «Без деятельного, духовного участия общественности в ведении войны, без общения правительства с общественными силами мы одолеть врага не в состоянии. Между тем Горемыкин стоит не только на обратной точке зрения, но готов даже идти во всем и всюду наперекор общественным желаниям и тем систематически всех раздражает. Понятно, что при таких условиях для общественности он неприемлем». Затем говорил Самарин. Он высказался еще сильнее, притом в торжественном и приподнятом тоне. Говорил он на ту тему, что предки ему завещали служить государю и отечеству не за страх, а за совесть, что этому служению он готов отдать все свои силы, но против своей совести он действовать не может. Ныне же совесть ему повелевает сказать государю, что совместная служба с Горемыкиным не согласуется с велениями, которые ему та же совесть предъявляет.

Высказался вновь и оправившийся Щербатов. Говорил он в мягком, добродушном, примирительном тоне, явно стремясь хотя бы несколько разрядить сгустившуюся атмосферу собрания и понизить ее весьма повышенную температуру. Развивал он при этом две мысли, а именно, во-первых, что между людьми разномыслия почти неизбежны, но разномыслия бывают различного порядка. Так если иначе думают люди различных областей деятельности, даже разных политических взглядов, то все же они нередко могут между собой сговориться, найдя точки соприкосновения. Но существует разномыслие неустранимое, а именно то, которое постоянно возникает между людьми разных поколений. Так, например, он чрезвычайно почтительный сын и отца своего, конечно, в высшей степени уважает, но, однако, хозяйничать с ним вместе в одном имении положительно не мог. То же самое происходит ныне между членами Совета министров и его председателем. Все они весьма уважают Горемыкина, который как раз ровесник его отца, но совместно работать с ним не в состоянии.

На это заявление Горемыкин, *sotto voce*, пробурчал: «Да, с его отцом я бы скорее сговорился».

Далее Щербатов указал на чрезвычайную опасность стоять против напорающего течения, не давая ему никакого выхода, постепенно все более возвышающуюся плотину. Вода в конечном результате все же поднимется выше плотины, сколько бы она ни была высока, и чем выше будет плотина в тот момент, когда наплывающая волна перегонит ее рост, тем с большей высоты хлынет вода и тем больше натворит бед. Гораздо рациональнее своевременно дать выход напорающему течению и, направив его по правильному уклону, самому использовать его силу.

Собранное в Ставке собрание министров поначалу кончилось как бы ничем: государь своего решения не изменил, министры остались при выказанных ими убеждениях, но, конечно, такое положение длительно продолжаться не

могло, и министры, наиболее решительно высказывавшиеся против Горемыкина, были вскорости один за другим уволены. Щербатова заменил член Четвертой думы Алексей Хвостов, Самарина — директор Департамента общих дел Волжин, Кривошеина — член Государственного совета по избранию самарского земства А.Н. Наумов, а Харитонов — товарищ министра финансов Покровский.

О каком-либо сговоре с парламентским блоком при таких условиях и речи быть не могло, а посему и дальнейшее расхождение между правительством и общественностью было неизбежно.

Наиболее талантливый и разумный царский советник Кривошеин при этом сразу превратился в представлении императрицы в ее личного врага, что и побудило его тотчас уехать из Петербурга, приняв должность главноуполномоченного Красного Креста на Западном фронте. Здесь, как и на всех предыдущих занимаемых им должностях, он проявил присущую ему действенность и инициативу, но, конечно, на ход событий никакого влияния иметь уже не мог. Так закончилось государственное служение Кривошеина при старом строе. Какую роль играл Кривошеин в Добровольческой армии, где перед самой эвакуацией из Новороссийска он стоял во главе двух отраслей управления, я не знаю. Видел я его в Крыму, когда он занимал должность помощника по гражданской части генерала Врангеля", но это был уже не прежний Кривошеин, спокойный, уравновешенный, способный принимать в нужные минуты решительные меры. По каким-то непонятным мне причинам он восстановил против себя все военные круги, причем вообще в значительной степени утратил те свойства, которые помогали ему в его стремлении привлекать симпатии общественности.

Новые условия, очевидно, требовали новых песен и, следовательно, новых птиц. Впрочем, вопрос это весьма сложный и совершенно выходит из рамок моих очерков старого строя. Относительно же Кривошеина одно несомненно: к этому времени нравственно и физически это был надорванный человек. Правда, последний год своей жизни в Париже он продолжал участвовать в различных общественных организациях, но серьезным влиянием в их среде уже не пользовался. Сам он при этом жаловался и на утрату им силы воли для принятия даже самых обыденных решений.

После состоявшихся в сентябре месяце перемен в составе Совета министров, председателем коего оставался Горемыкин, дальнейшее расхождение между правительством и общественностью было неизбежно.

Вопрос здесь был, разумеется, не в парламентском блоке: сговор с ним важен был, лишь поскольку он приводил к сближению с общественностью.

О деятельности парламентского блока в то время говорили очень много, причем крайние правые элементы приписывали его образованию весьма

преувеличенное значение, а его деятельности чуть ли не самое возникновение Февральской революции. Между тем на деле никаких реальных результатов или хотя бы последствий образование блока не породило.

Я не припомню ни одного случая, когда бы решение, принятое комитетом блока, повлияло на то или иное голосование законодательных палат или хотя бы на то или иное выступление в них. Это не обозначает, однако, что психологическое значение не только его образования, но даже происходивших в его комитете суждений не было весьма существенно. Настроение комитета блока, в течение зимы 1915—1916 гг., а в особенности начиная с осени 1916 г. все более повышавшееся, несомненно, отражалось на настроении если не Государственного совета, то, во всяком случае, Государственной думы. Заседания комитета блока происходили еженедельно и отличались большой живостью. Обсуждались все текущие злободневные вопросы, недостатка в которых никогда не было, причем обменивались сведениями о тех закулисных влияниях, которые все более и более давали себя чувствовать. Неоднократным предметом суждений было и все определеннее выяснявшееся влияние Александры Феодоровны на Распутина если не на самый ход дел, то, по крайней мере ... личного состава и выступал неоднократно с сенсационными разоблачениями о вмешательстве Распутина в дела церкви и в решения Св. синода В.Н. Львов, будущий обер-прокурор Синода в составе Временного правительства.

"Этот человек отличался необузданным честолюбием и отсутствием всяких сдерживающих начал. Вступив первоначально в крайнее правое крыло Государственной думы, он постепенно переходил во все более левые партийные конъюнктуры. В составе Временного правительства он по этикетке принадлежал к наиболее правой из фракций Государственной думы, представленных во Временном правительстве, но на деле неизменно высказывался в духе наиболее левых его сочленов, причем всегда голосовал за наиболее радикальные, в революционном духе, мероприятия. Эволюция его этим, однако, не закончилась: в конечном результате он примкнул к большевикам и там занял какое-то видное положение среди так называемых живоцерковников.

Повторяю еще раз, что комитет блока каким-либо революционным потрясениям или хотя бы вспышкам не только не сочувствовал, а, наоборот, их всячески опасался и стремился их предотвратить. Когда однажды, кажется в осенние месяцы 1916 г., приехавший из Москвы кн. Г.Е. Львов и председатель общегородской организации (он же и московский городской голова) М.В. Челноков, приняв участие в заседании комитета блока, убежденно развивали ту мысль, что победоносно окончить войну при существующем строе нет ни возможности, ни надежды и что, следовательно, спасение состоит в революции, то к этому положению решительно все

высказывавшиеся по этому вопросу члены комитета блока отнеслись резко несочувственно и, не обвиняясь, высказали, что идти на революцию в момент войны — прямое преступление перед родиной.

За довольно значительную давностью, в особенности же за множеством испытанных с тех пор потрясений и трагических событий, у меня, к сожалению, в памяти не сохранилось никаких подробностей, касающихся деятельности комитета блока и происходивших в нем прений. Никаких записей я никогда не вел, да если бы и вел, то сохранить эти записи все равно бы не мог. Однако два члена комитета усердно вели записи о всем происходившем в его среде. Это были Ефремов и Милюков. Ефремов состоял председателем фракции прогрессистов, главной задачей которой в то время было обскатать по степени левизны и оппозиционности фракцию кадет. Во время заседаний комитета блока я обыкновенно сидел рядом с ним и посему видел, как он усердно тут же записывал содержание произнесенных на нем речей и суждений. То же самое делал и Милюков. Если записи эти у них сохранились, то думаю, что их опубликование было бы небезынтересно. По этим речам и суждениям можно было бы, во-первых, проследить, как общественное настроение поначалу довольно медленно, а потом все ускоряющимся темпом неуклонно повышалось, а во-вторых, из них бы выяснилось, что революции блок не только не подготовлял, а, наоборот, когда призрак революции начал все более определенно реять над страной, всемерно стремился ее предотвратить.

Действительно, предметом суждений блока было, несомненно, влияние Распутина и его очевидная пагубность, однако личности государя и императрицы при этом никогда не касались. Не было разговоров о все шире распространявшихся слухах о будто бы сочувствии государыни немцам и даже о тайных с ними сношениях.

Где почерпнул Милюков те данные, на основании которых он позволил себе в ноябре 1916 г. с трибуны Государственной думы довольно прозрачно намекнуть чуть не на измену императрицы, я не знаю, но, во всяком случае, в заседаниях комитета блока он об этом ни разу не заикнулся, хотя по непринужденности происходивших в нем суждений имел для этого полную возможность.

Невольно спрашиваешь себя после всего происшедшего: был ли вообще выход из создавшегося положения, было ли спасение, или насильственное в тех или иных пределах изменение государственного строя было неизбежно?

Мое личное мнение по этому основному вопросу сводится к тому, что август 1915 г. был последним моментом возможного соглашения правительства с общественностью на таких основаниях, которые не грозили никакими тяжелыми последствиями. Общественность в ту пору, думаю, вполне

удовлетворилась бы сменой Горемыкина и Кривошеино-Поливановской комбинацией, причем подобранный ими личный состав правительства сумел бы, не подвергая опасности внутренний порядок и спокойствие, сговориться с народным представительством и превратить его из силы оппозиционной в силу содействующую и дружескую.

Конечно, оставалась бы опасность, что правительство, возглавляемое Кривошеиным, было бы по проискам Распутина и Ко в скором времени уволено и заменено иной комбинацией, состоящей из лиц распутинского толка. Но если исключить эту возможность, то в августе месяце раскол между государственно мыслящей и патриотически настроенной общественностью и верховной властью еще мог быть устранен без передачи власти людям, выдвигавшимся самой общественностью и к власти, как это показало последующее, совершенно не подготовленным.

Позднее простой сменой одних бюрократических деятелей другими, какого бы политического направления они ни были, удовлетворить пожеланий общественности уже не было возможности. Общественность к тому времени уже создала собственного идола в лице главноуполномоченного общеземского союза кн. Львова и никого иного видеть у власти не желала. Меньшим ни общественность вообще, ни кадетская партия в частности, а она пользовалась в то время громадным влиянием, не удовлетворились бы.

Но мы знаем, к чему привело бы нахождение у власти дряблого кн. Львова, всегда послушно следовавшего господствующему течению, каково бы оно ни было.

Не подлежит сомнению, что первой заботой правительства, возглавляемого кн. Львовым, было бы спешное осуществление ряда радикальных реформ демагогического свойства. Между тем, даже не касаясь вопроса о том, поскольку такие реформы соответствовали интересам страны вообще, можно безошибочно утверждать, что самое обращение к внутренним серьезным реформам не только не помогло бы достижению ближайшей и важнейшей в данную минуту задачи — победе, реформы эти, коль скоро бы к ним приступили, всецело бы приковали к себе внимание общества и тем самым отвлекли бы внимание от войны и ослабили бы необходимое в этом направлении напряжение. Война, которая вообще к тому времени народу опостылела, превратилась бы для него уже в определенно невыносимую. Произошло бы приблизительно то, что произошло после Февральской революции, — усиленное дезертирство из армии, скоро перешедшее в открытые демонстрации против войны, к чему, несомненно, приложили бы все свои силы те же, поддерживаемые германскими деньгами большевики. Не следует при этом забывать, что в кадетскую программу входила еще полная амнистия всех политических по суду или в административном порядке заключенных, сосланных и высланных. Можно себе представить,

какую вакханалию безудержной пропаганды развели бы эти господа в среде, тем более для нее благоприятной, что страна была все-таки глубоко потрясена продолжительной тяжелой и изнурительной войной.

В сентябре месяце всего этого можно было бы избежать. В то время общественность легко примирилась бы с правительством, ответственным лишь перед монархом, если бы его личный состав был ею одобрен. Комбинация Кривошеин—Поливанов, которая тогда носилась в воздухе, думается, могла спасти положение. Иное положение создалось к концу 1916 г. Доведенную рядом нелепых, тем более раздражающих, что они не касались существенных государственных вопросов, мероприятий общественность уже нельзя было успокоить полумерами. Единственным исходом был, быть может, прямой сговор между верховной властью и лидером главных, имевшихся в стране общественных течений, т.е. образование правительства, формально исходящего сверху, а фактически избранного по предварительному сговору с лидерами Государственной думы. Спрашивается, не настояли бы и тогда кадеты, сумевшие к тому времени в значительной степени подчинить своему влиянию и октябристскую и национальную фракции Государственной думы (вспомним речи Шульгина в особом совещании по обороне, отражавшие кадетские приемы, вполне солидарные с кадетскими устремлениями)³⁷, на назначении кн. Львова главой правительства, в каком случае последующий ход событий немногим отличался бы от того, который имел место в действительности? Но допустим, что при сговоре с политическими деятелями удалось бы сойтись на таком личном составе правительства, который отвечал бы требованиям момента, спрашивается, как бы такой сговор мог бы вообще произойти? Для такого сговора необходима была определенная прямота сговаривающихся сторон и верность данным ими обещаниям. Увы, я в эту прямоту не верю. Обе стороны сговорились бы с тайной надеждой в возможно скором времени обойти друг друга. Наконец, для подобных сговоров необходимо, чтобы у власти была сильная, непоколебимая воля, ибо Мишле прав, когда говорит в своей истории Французской революции, что безответственные короли для охранения и соблюдения ими же октроированных конституционных гарантий должны обладать даже большей силой воли, нежели для охранения своих неограниченных прав.

У нас в России такой воли не было, отчего и происходило, что сегодня уступленное и предоставленное завтра урезывалось или отменялось.

Да, в том конфликте, который между правительством и общественными политическими силами начался приблизительно с шестого месяца войны, а своего апогея достиг к концу 1916 г., виноваты, безусловно, обе стороны, пожал же плоды этого конфликта — *tertius gaudens*. Давно установлено, что революции неизменно идут сверху, и эта истина подтвердилась как нельзя

более в нашей русской революции, о которой еще Пушкин сказал: «русский бунт бессмысленный и беспощадный».

Именно ввиду всего этого я и утверждаю, что роковым моментом, послужившим исходным пунктом для всего последующего, был сентябрь 1915 г., когда оставлена была мысль о назначении такого министерства, которое, всецело завися от короны, было бы одновременно приемлемо для общественности и само относилось бы к ней благожелательно. Это отнюдь не обозначало бы, что правительство должно было бы смотреть сквозь пальцы на всякие революционные действия. Оно могло и должно было всякие попытки в этом направлении решительно и сурово подавлять, но политика его должна была быть честная и прямая. Этой прямоты и честности в русской правительственной политике не было, за исключением первого года состояния у власти П.А. Столыпина.